



Карина Демина

Механическое сердце.

Черный принц

Фэнтези • Любовный роман • Приключения



Annotation

Год прошел.

Близится прилив. Материнская жила переполнилась пламенем. Отсчитывают секунды жизни бомбы, совокупный удар которых уничтожит город. И тогда Стальной король спустит с привязи чуму, что затаилась на борту древнего «Странника». Новая война, способная уничтожить и псов, и людей, вот-вот разразится. Брокк, Кэри, Таннис и Кейрен — лишь пешки в игре двух королей, каждый из которых готов жертвовать фигуры ради победы. Но и пешка способна вести свою игру.

Карина Демина

Механическое сердце. Черный принц

Год спустя

В этом месте берег шел вверх, и земляная шкура сползала, обнажая темно-красную гранитную подложку. Камень, расписанный трещинами, выдавался вперед, нависая над самой водой, и дом гляделся естественным его продолжением. Древний, сложенный из гранитных глыбин, он разительно отличался от прочих домов и видом, и самой своей принадлежностью иному миру, в котором, казалось, все еще не знали о детях Камня и Железа.

Дом прятался за высокой оградой из кованого железа, чьи прутья давно и прочно облюбовал плющ. Укрытый от посторонних глаз за одичалым садом, лишенный колонн и портиков, снабженный свинцовыми трубами водостоков, дом был почти уродлив в своей простоте. Пара грубоватых эркеров и нелепый, местами обвалившийся фриз гляделись несуразно, а узкие редкие окна, прорывавшие стены его, казались излишеством. В окна эти свет попадал лишь иногда, другое дело — сквозняки. И женщина в серой пуховой шали привычно куталась, пытаясь согреться.

Она зябла.

Осенью ли, когда черная речная гладь дрожала от ударов капель, а по каменным подоконникам растекались лужи. Весной ли, когда снег таял и крыша привычно потрескивала под тяжестью его. Зимой, пожалуй, тоже, но зимы для женщины пролетали быстро — дни были одинаково черны и холодны.

И женщина пряталась от них в собственной спальне.

Там, среди потемневшего белья, иссохших роз, выбрасывать которые она запрещала, и оплывших свечей женщина чувствовала себя в безопасности. Ее фантазии оживали, а жизнь обретала краски, пусть бы и существовали они лишь в ее воображении.

Женщину считали сумасшедшей, и, пожалуй, она соглашалась, что у тех, кто жил в ее доме, имелись для того все основания. Однако безумие защищало ее.

Кто знает, что бы сделали с ней в ином случае?

Она улыбнулась и провела сухими пальцами по свинцовому переплету.

...тот, кто притворился ее сыном, предлагал заменить окна. Она отказалась.

Мальчик не понимал, что место это должно оставаться прежним.

И место, и сама Ульне.

В темном толстом стекле отражалась она, тонкая, хрупкая, как одна из ее драгоценных роз. Черты ее лица, некогда мягкие, с возрастом заострились, кожа утратила белизну, обрела оттенок старого пергамента. Платье, сшитое по моде начала века, стало слишком велико, и сколь бы туго горничная ни затягивала шнуровку на корсаже, платье все одно висело.

...тот, кто притворился ее сыном, покупал ей другие наряды и, принося, раскладывал на кровати, брал ее за руку, уговаривая примерить. Иногда, под настроение, она шла ему навстречу, но роскошные ткани оставляли ее равнодушной. Более того, в принесенных им платьях Ульне ощущала себя странно-беззащитной.

...тот, кто притворился ее сыном, делал вид, что не замечает, как платья исчезают в сундуках. И приносил новые, тщетно пытаясь угодить.

Порой женщине было жаль его. И она старательно улыбалась, заставляя себя оживать.

Спускалась к завтраку.

И набрасывала на плечи подаренный им меховой палантин. Ей казалось, что ему будет приятно.

Она поддерживала беседу. Читала ему стихи, а он слушал, забывая о своих важных делах, и... его внимание льстило. Ульне начинала думать, что, быть может, не так и плохо, что в доме поселился именно он.

Освальд считал стихи пустой тратой времени.

...а ее называл глупой старухой, хотя тогда она не была столь уж стара.

Странные мысли. Осенние.

— Ульне, отойди от окна, — сварливо сказала вторая женщина, которая благоразумно держалась у камина.

— Я смотрю.

— Ты всегда смотришь, — с неодобрением произнесла женщина, вытаскивая из рукава овсяное печенье. Она была крупнотела, полна той уютной полнотой, которая не вызывает мыслей об излишествах. — Но ничего не видишь. Даже того, что у тебя под носом творится. А я говорю, что это добром не закончится. Ты должна выставить их из дома...

Этот разговор Марта заводила не раз и не два, пожалуй, она уже сама не верила в свои слова.

Выставить?

Как?

Марта ведь не глупа, пусть и пытается таковой казаться. Она сильно пудрит лицо и носит шиньон, скрывая, что волосы ее поредели. Марта, в отличие от Ульне, не стесняется его подарков, а он, тот, кто притворяется сыном, щедр. В этом видится попытка откупиться, и Марта принимает выкуп.

Пускай.

Марте по вкусу розовые, щедро расшитые бисером и серебряной нитью платья. Она вычитала, что розовый освежает цвет лица, а Марта, конечно, не старуха, но и не столь безразлична к своей внешности, как ее подруга... а ведь и вправду подруга, единственный человек, который знает Ульне едва ли не лучше самой Ульне.

И зачем она притворяется?

Ульне со вздохом отступила и спрятала озябшие руки в складках шали... откуда она взялась? Из сундука. В сундуках ее дома хранятся самые разные вещи. Вчера вот она нашла фарфоровую куклу с истершимся лицом. И медведя, набитого гречневой лузгой. В медвежьей шкуре моль проела дыру, и лузга высыпалась. Это обстоятельство привело Ульне в печаль, и она расплакалась прямо там, в коридоре, который казался пустым. Но тот, кто притворялся сыном, услышал.

И вышел.

Присел рядом.

Забрал медведя, пообещав:

— Я почию его.

А Ульне хотела сказать, что не стоит. Кому нужны старые игрушки?

— Не плачь. — Он опустил на колени и прижал ее ладони к горячим своим щекам. — Не плачь, мама, пожалуйста.

Он сидел долго, пока слезы не закончились. А после поднялся и поднял ее.

— Я принесу тебе розы.

— Белые?

— Белые.

...букет стоял в ее комнате, и розы, лишенные воды, тихо таяли. Скоро жизнь из них уйдет, и тогда она осторожно, опасаясь пораниться о сухие шипы, снимет венчики цветов.

Иллюзию безумия следовало поддерживать.

И часть лепестков она бросит на туалетный столик. Быть может, поддавшись желанию, смахнет паутину, скользнет пальцами по пыльной поверхности и отвернется, чтобы не встречаться взглядом со своим отражением. Она сядет в кресло у погасшего камина и будет смотреть в черное жерло, на закопченную решетку, на белый шлейф фаты, забытой на каминной полке.

На комплект из сапфиров и топазов...

...его принес тот, кто притворялся сыном Ульне. И встав на колени, сказал:

— Прости меня, пожалуйста.

А Ульне коснулась жестких его волос...

— Ты не Освальд.

...он уже две недели как ушел из дому, забрав с собой не только комплект. Он сказал, что устал от нищеты и долга, который на него навесили. Что задыхается в этом доме и не собирается позволять старухам лишать себя радостей жизни...

...Тедди пообещал присмотреть. Не стоило верить его словам.

...дурная кровь.

И тот день Ульне провела *внизу*. И следующий тоже, и еще много дней, пока не появился Тедди и с ним тот, кто притворился ее сыном.

— Я не Освальд. — Он смотрел снизу вверх, и в светлых его глазах Ульне видела жалость. — Но я стану им. Я постараюсь.

Тогда еще Ульне могла бы выставить его.

...ушел бы...

...или убил бы?

Тедди держался за его спиной, скалясь, и Ульне подумалось, что единственный близкий ей человек, не считая Освальда, отвратительно улыбается. Сказать бы... ей не хотелось обижать Тедди, который и без того помогал часто. Он же впервые обратился с просьбой.

— Присмотри за мальчиком, Ульне. — Тедди потянул за светлый локон, выпадая из обычного своего полусонного состояния, каковое, сколь знала Ульне, было лишь маской. — Мне кажется, вы понравитесь друг другу.

И все-таки... если бы Ульне отказала, что было бы?

Она не знала ответа. Ему был нужен ее дом и имя последнего из рода Шеффолк. Белая гербовая роза. И родовое древо, ныне захиревшее. Что ж, пусть предки проклянут Ульне, но она отступила. Ответила Тедди легким кивком и коснулась жестких волос чужака, заглянула в глаза и глядела долго... до сих пор не нагляделась.

— Здравствуй, сынок, — сказала она, убрав длинную прядь с его лба. — Я рада, что ты одумался...

— Спасибо... мама.

Он коснулся губами ее руки, осторожно, точно опасаясь раздавить хрупкую ее ладонь. И пальцы разглядывал долго. А еще дольше осматривался в доме...

Ульне же видела родовое гнездо его глазами. Побуревший паркет. Гнилые гобелены, сквозь дыры в которых бесстыдно проступал камень стен. Истлевшие ковры. Каминны, что не разжигались многие года. Потускневшая роскошь гербовых щитов.

И Марта, тогда худая, с запавшими темными глазами, шипела:

— Что ты делаешь? Он ведь самозванец...

— Нет. — Ульне знала, что поступила правильно.

Освальд не вернется... гнилая кровь, дурная, неспособная понять истинное предназначение рода Шеффолков.

И глядя на того, кто стал ее сыном, Ульне улыбалась.

Безумным прощают улыбки без повода.

— Мама, тебе не холодно? — Он всегда появлялся неожиданно, и было время, когда звук этого голоса заставлял Ульне замереть.

Так похож... Стройный, светлый, с синими прозрачными глазами.

Чужой.

— Холодно, — покорно согласилась Ульне, и он, положив руки на плечи — острые, хрупкие, — произнес:

— Идем к камину. Марта...

— А что я? Я говорила ей, чтоб перестала торчать у окна. Разве ж послушает? — В ворчании Марты не было злобы, оно — привычное, надоедливое слегка, и его, того, кто притворяется сыном Ульне, Марта не ненавидит. Напротив, втайне она боится, что однажды он исчезнет.

Бросит дом, который ожил за последние годы.

И Ульне с ее безумием и пустой комнатой, где обретались призраки прошлого.

...дорожку из иссохших розовых лепестков, что ведет через всю комнату к шкафу...

...и дальше, *вниз*.

А в подzemелье ныне холодно... но надо бы проведать, рассказать *ему* новости...

Ульне бросила осторожный взгляд на того, кто стал ее сыном. Совсем вырос... и ждать уже недолго.

Спицы Марты ненадолго замерли, прежде чем подцепить ускользнувшую было петлю. Жесткая шерстяная нить царапнула пальцы едва не до крови.

Командует.

И смотрит недружелюбно, точно подозревая в чем-то. Пускай, в мысли-то он не заглянет. Конечно нет. Обыкновенный человек... пусть и глаза мертвые, а Ульне не видит. И сама-то жива едва-едва, а может, и умерла, еще тогда, на свадьбе? Бывает же, что мертвые притворяются живыми?

Петля за петлей.

Безумная Марта вяжет шарф... у нее такое множество шарфов: последние годы ей полюбились рукодельничать, а ведь Марта помнит те времена, когда в роскошной столовой на ужин подавали вареную чечевицу. Ей это было непонятно — тяжесть фамильного серебра и чечевица.

Изумрудные серьги, принадлежавшие последней королеве, и погасшие каминны.

Старые соболя...

...пыль на лестницах.

Пустые слова о семейной чести и голод, от которого не получалось избавиться. Марта занимала себя рукоделием, пытаясь отделаться от мысли, что, если продать хотя бы один канделябр, серебряный, отлитый многие сотни лет тому, голод отступит...

Освальд и продал.

...нет, он был хорошим мальчиком, славным. Заигрался несколько, оно и понятно, какой человек выдержит холод Шеффолк-холла? Ему жить хотелось, а денег не было, только честь семейная, которой сыт не будешь. Да, взял он из материной шкатулки брошь с рубинами. Или те самые серьги на золотой проволоке... браслет с аметистами, Марта помнила темно-лиловые тусклые кабашоны.

Он любил играть, ее Освальд, и верил, что однажды ему повезет. А если и нет, то... к чему цепляться за прошлое? Надо продать камни и металл, за который предлагают хорошую цену. Антиквариат ныне дорог... и сам этот дом, если сыщется безумец, согласный купить его.

Щиты.

И доспехи герцога Шеффолка. К чему им ржаветь? Так он говорил, называя Марту толстущечкой и, выиграв, покупал ей в лавке сахарных петушков. Ульне поджимала губы.

Никогда-то сына не любила, держалась в стороне, с холодком, вот он и пошел в разгул, искал тепла... нет, Марта, конечно, понимала, что Освальд не без недостатков. Так, а кто святой? Этот, что ли? Его Марта, к преогромному своему стыду, боялась. О нет, за прошедшие годы она не услышала от него ни одного дурного слова, да и с прочими обитателями дома он разговаривал вежливо, мягко, но вот глаза... пустые. Нечеловеческие. И появлявшаяся при взгляде на Ульне нежность была столь протivoестественна, что пугало едва ли не больше обычного равнодушия.

А ведь он чувствует ее страх.

Ему нравится.

Оттого и появляется он вот так, бесшумно возникая словно бы из ниоткуда. Тень из теней старого дома... призрак во плоти. Летом он скрывался от солнца, и Марта знала, что из-за кожи — рыхлая, неестественной белизны, та плохо переносила солнечный свет. Его прикосновения оставляли красные следы и волдыри, которые Освальд — скрепя сердце Марта вынуждена была называть чужака именно так, а после как-то вот привыкла, — смазывал свинцовой мазью. От него ею пахло постоянно, и еще, пожалуй, мятой, которой он пытался перебить иные, неподобающие человеку высокого положения запахи.

...тлена.

...сырой земли.

...крови, старой, загустевшей, какая бывает на скотобойне к концу дня. Оказываясь рядом с ним, Марта невольно вспоминала свое детство и отца, что возвращался домой, пропахший кровью. И содрогалась, прятала и страх, и отвращение за нервной улыбкой. Смирляла дрожь в голосе.

И заедала ужас овсяным печеньем.

...вязала, плела шарфы, нить к нити, выводя рисунок, которого никто не видел. Благо чужак не жалел денег не только на дом, но и на них с Ульне. И порой Марта думала, что, должно быть, две безумные старухи придают дому особый шарм.

Как-то она сказала об этом Ульне, и та лишь пожала плечами, бросив:

— Быть может...

Главное, чтобы после смерти Ульне он не выставил Марту. Ей некуда идти. Вся ее жизнь прошла в этих стенах, и Марта знает каждую трещину, каждый шрам на огромном каменном теле Шеффолк-холла... а он знает о ее знании.

— Дорогая тетюшка, — в голосе Освальда прорезалась насмешка, — вам стоит прислушаться к словам доктора. Вы слишком увлеклись печеньем...

Марта обняла подругу, и та слегка отстранилась.

А ведь ей нравится чужак.

Да и то, собственного сына любить сил не хватило. Заботилась сколь могла. Смотрела с высоты, с обычным своим презрением, выискивая в его лице отцовские черты, заставляя стыдиться собственного несовершенства.

До слез доводила.

И злилась, когда мальчик, всхлипывая, искал утешения в юбках Марты. А что она? Она просто любила как умела, без красивых слов и высоких помыслов. Носила тайком в холодную комнату герцога, слишком большую для ребенка, молоко и сыроватый хлеб, покупала, когда случалось выходить из дому, все тех же петушков на палочке, сказки рассказывала... нормальные сказки, а не...

А Ульне радовалась, когда Освальд исчез, прихватив семейные реликвии, будто и вправду подтверждение получила, что кровь его — гнилая. Оттого и вычеркнула из сердца, оттого и приняла чужака, оттого и запирается в собственной спальне, преклоняет сухие колени перед распятием. О чем просит Бога?

О милости к тому, кто мертв?

Или об удаче для живого?

Марту порой подмывало спросить, но она прикусывала язык. Дом тоже принял чужака и, как знать, не донесет ли ему о неосторожных словах... странно все.

Смутно.

И сейчас Освальд не торопится уходить. Держит Ульне за руку, усаживает в кресло, а на колени набрасывает соболиное покрывало... тридцать седьмой герцог Шеффолк любит и балует матушку. И, склонившись к исхудавшим ее рукам, целует пальцы. Просит.

— Расскажи...

— О чем, дорогой? — Она оживает, пусть и ненадолго.

А Марта отворачивается, вытаскивает из корзинки для рукоделия нитки.

— О том времени, когда Шеффолки были королями...

В корзинке клубки перепутались. Толстая шерсть, окрашенная в синий или вот в лиловый... лиловый и серый неплохо смотрятся, но серый — цвет пыли, а Марта ненавидит пыль.

— Давным-давно... — Ульне улыбается собственным мыслям, а Освальд подвигает скамеечку. Он присаживается у ног старухи, настолько близко, что Марте в этом видится нечто непристойное, как и в ласковом ее прикосновении к светлым волосам.

Чужак ведь.

И опасный... а она как к родному.

Ближе, чем к родному... родного презирала, этого же приняла.

Клубок выскользывает, катится к креслу и замирает, остановленный его ногой.

— Давным-давно, когда в мире не было ни псов, ни альвов, он принадлежал людям. — Ульне рассказывала эту историю десятки раз, и Освальд наверняка выучил каждое слово, но он вновь слушает. Улыбается. Веки смежил, голову запрокинул, пристроив на колени Ульне.

И снова она нацепила тряпье.

Некогда платье было нарядным — стеганный шелк, расшитый мелким речным жемчугом и золотой нитью. Но прошедшие годы истончили ткань, жемчуг срезали, пытаясь продлить жизнь Шеффолк-холла, а золото потускнело. И ныне платье гляделось древним, истлевшим саваном.

...подходящее одеяние для мертвеца, пусть бы мертвец и дышит, ходит, разговаривает. Голос у Ульне сиплый, шелестящий и порой столь тих, что слова приходится угадывать.

Марта вытащила другой клубок, зеленый.

Зеленый и лиловый не сочетались, но... какая разница? Кому нужны ее шарфы, которые Марта, довязав, складывает в старый шкаф. На полках его уже скопились десятки, если не сотни вязаных змей расцветок самых удивительных. И если подумать, то и в этом есть свое безумие, несколько иное, чем у Ульне, но все ж...

— ...и стал он первым среди равных, сильнейшим среди сильных, приняв имя Освальда Первого. На голову его возложили корону о семи зубцах по числу земель, отошедших под руку его. Ее украсили шесть алмазов, совершенных по чистоте и огранке, но седьмой, прозванный Черным принцем, появился позже. И принес с собой беду, — завершила рассказ Ульне. Пальцы ее перебирали светлые пряди, и Освальд будто бы дремал.

Ложь.

Марта ощущала на себе пристальный взгляд.

Оценивает. Не доверяет... и держит лишь потому, что Ульне привыкла к Марте, другую компаньонку она не примет. А Ульне он, кажется, любит.

— Расскажи, — не открывая глаз, вновь просит Освальд.

И улыбается.

— О чем?

— О Черном принце... что с ним стало?

— Исчез вместе с короной. — Ульне убирает руку, и Освальд нехотя открывает глаза. Он еще не сердится, не на Ульне, но Марта поспешно берется за спицы. Ей со спицами спокойней. Иногда она представляет, как убивает чужака.

Спицей.

— Псы появились с Севера. — Ульне рассказывает, любуясь тем, кого приняла за сына. О нет, она вовсе не так безумна, каковой хочет казаться. Марта изучила ее распрекрасно, и эти истории, рассказанные осипшим, будто сорванным голосом, — часть маски.

...и розы, которые умирают без воды, медленно теряя зелень листвы. Лепестки становятся хрупкими, пергаментными.

...и затянутое пылью зеркало.

...и свадебное платье, так и оставшееся на манекене.

— Их согнал с места холод. Говорят, что наступала Великая зима. И море, кормившее псов, оскудело. Ушла рыба и черные киты, а по следам волн появился лед. Он ложился на воду, сковывая ее непробиваемым панцирем, стлал дорогу вьюгам и морозу. Говорят, что дыхание Великой зимы замораживало птиц на лету. И огненная жила, сердце их мира, почти погасла.

Ульне рассказывала эти сказки Освальду, еще тому. Марта помнит его. Болезненный, по-девичьи изящный ребенок. Он вечно простывал, и кутался в связанные ею шарфы, в дряхлые шубы Ульне, и мерз, садился вплотную к камину, прося сказку.

Ульне знала множество историй.

Некоторые сошли бы и за сказку.

Кого она видит сейчас? Уж не того ли мальчика, который часто засыпал, не дослушав до конца. И ночью просыпался с плачем, с воем, жалуясь, что снятся ему черные корабли псов.

Марта жалела.

Брала в постель, благо, та была огромна. А Ульне, узнав, отхлестала по щекам, не Марту

— мальчишку. Он должен быть сильным, так сказала она...

...последний король.

Не король — принц. И всего-навсего — герцог.

— Говорят, Вилгрим спустился к гаснущей жиле, и та подарила искру. Он вез ее на груди, и если бы искра погасла...

Ульне замолкала. Почему-то она всегда оставляла эту фразу оборванной, словно опасаясь, что даже здесь, в ее собственном доме, найдется кто-то, кто подслушает.

Донесет.

Даст повод оборвать старую гнилую ветвь.

Марта накидывала петлю за петлей, позволяя работе увлечь себя. История, что история... не перепишешь.

— Бергард Третий позволил псам подняться по реке. И Вилгрим говорил с королем, обещая вечный мир и дружбу, он же поднес в подарок алмаз невиданной чистоты. Камень квадратной огранки имел удивительный окрас, темно-лиловый, дымчатый, вовсе не свойственный алмазам. Он был огромен, с кулак младенца, и прекрасен. И говорят, именно этот камень очаровал Короля, заставив слушать псов. Бергард Добрый подарил им Каменный дол, рассчитывая, что псы будут служить Королю и людям.

Голос все-таки дрогнул, выдавая гнев, вновь не понятный Марте. Сколько лет прошло? Сотни, а Ульне все еще сердится на предка за ошибку.

И втайне мечтает исправить ее.

Пустое.

Нет, Марта давненько не выглядывала за пределы Шеффолк-холла, но она не столь глупа, чтобы надеяться, что псы однажды исчезнут, вернув людям город... она, Марта, не слышит голоса крови, она, Марта, склонна считать, что этот самый голос, на который ссылается Ульне, вовсе выдумка, напрочь смысла лишённая.

— Каменный дол был пустошью, — Ульне нежно улыбалась чужаку, и тот сидел, взяв ее за руку, прижав эту руку к щеке, — скалы, и ничего кроме скал, но Вилгрим сам попросил эти земли. Он знал, что делал. Спустившись в расщелину, Вилгрим разбил сосуд. Говорят, что новорожденная жила была слаба, что хватило бы малости, чтобы убить ее...

Тонкие губы дрогнули.

— Псы поили ее собственной кровью...

— И вышоили, — слово слетело с языка Марты прежде, чем она успела язык прикусить. Но вольность эта осталась незамеченной.

— Так возник Каменный лог, а Вилгрим остался при нем... говорят, он до сих пор жив, но псы позабыли его имя. Зовут Привратником.

Псы забыли.

Люди помнят. И эта память здорово мешает им жить. Не будь ее, иначе сложилась бы судьба Ульне, и собственная Марты жизнь, глядишь, не была бы столь пустой.

Одинокой.

И спицы в руках не навевали бы мыслей об убийстве.

А он учуял, повернулся к Марте и оскалился, предупреждая. Ничего, она не боится. И взглядом отвечает на взгляд, только нитка шерстяная колет пальцы, и спицы вяжут, вывязывают узор.

Всегда один и тот же.

— Бергарду псы еще служили. И сыну его. И внуку... Но наступил миг, когда они

поняли, что силой превосходят людей. И Гуннар из дома Синеи Стали объявил войну. Она была короткой.

Металл касается металла, нить дрожит, клубки вздрагивают, спеша скрыться в складках юбки. Платье роскошное, чужак подарил. Он часто делает подарки. И Марта берет. Платья, веера, расписные шали, платки и печенье, вазы с которым стоят по всему дому. Ей стыдно за свою слабость, но она — не правнучка последнего Короля.

Компаньонка.

И дочь мясника, который когда-то, быть может, и был благородных кровей, но давным-давно позабыл об этом. Ей непонятна беззубая эта гордость.

— Освальд Четвертый собрал огромное войско. Сотни рыцарей откликнулись на его призыв. И солнце сияло на доспехах. Гордо шли шейвудские стрелки, несли на плечах длинные луки из тиса, и колчаны их были полны стрел. Вздвигались к небесам острия копий, и копейщики украшали шляпы белыми гусиными перьями. Волокли баллисты и онагры, черенные тараны с коваными бараньими головами... никто не сомневался, что Каменный лог падет. Псов ведь было немного.

Пламя метнулось, расплескав по экрану тени, и Ульне замолчала.

— Продолжай, мама. — Освальд провел пальцами по сухой ее ладони, стирая прах иссохших лепестков.

— Они позволили людям войти, — Ульне поворачивается к Марте, и в пустых глазах вспыхивает гнев, — и спустили с привязи жилу. Говорят, что она прорвалась кольцом, отрезая путь к бегству. И камень расплавился под ногами, а сталь закипела. Люди горели живо, смертью своей питая жилу. Чем больше она брала, тем сильнее становилась...

Беззвучный вздох, и пальцы касаются губ. Бессильный, раздражающий притворством жест. И Марта склоняется над вязанием.

— Королева напрасно ждала мужа и сыновей. Никто не вернулся из Каменного лога. А к городу подступили псы. Гуннар из дома Синеи Стали пожелал говорить с ней, и она согласилась. Он же сказал, что изрядно крови пролилось и ни к чему множить горе. Псы войдут в город рано или поздно. Разве остановит их ров? Или вал? Или стены, лишившиеся защитников? Или, быть может, женщины, которые не ждали этой войны? Так он спросил. И она согласилась.

Сама Ульне предпочла бы умереть.

Она и умирала, день за днем, год за годом, давая гордыне взять верх над разумом.

Пустое.

Марте не понять их, а им не понять Марты.

— Ей предложили добровольно отречься от престола, пообещав титул герцогини, земли и жизнь сына... Она согласилась.

Ульне наклонилась к чужаку. А ведь они похожи, пусть разной крови, но разве скажешь это? Оба тонкокостные, болезненно-бледные, но все же полные скрытой дикой силы, которая прорывается в глазах. И оттого их тянет друг к другу...

— Она вышла к народу и преклонила колени перед Гуннаром. Отдала ему пурпурный плащ, подбитый соболями, и цепь регента...

— А корону?

— Корона исчезла. — Ульне обернулась к Марте, и та почувствовала себя лишней. Она замерла, схватившись за спицы, понимая, что они — единственное ее оружие, пусть и смешное. — Говорят... король взял ее с собой.

— Говорят? — Освальд приподнял бровь.

И Ульне, скрывая усмешку в уголках губ, подтвердила:

— Говорят.

Массивная туша дирижабля дрогнула и сползла со ступеней. Лишившись опоры, она покачнулась, и в какой-то момент Брокк испугался, что корабль ляжет, но опасения его были беспочвенны.

«Янтарная леди» медленно, нехотя, но набирала высоту.

Вот лениво повернулись лопасти хвостового винта. Вспыхнули узоры энергетических контуров. Загудел, расправляясь, каркас, прогнулся под тяжестью гондолы, но выдержал.

Получилось.

И Брокк разжал кулаки. Сердце колотилось безумно, да и не только у него. Он обернулся, услышав за спиной облегченный вздох. Первый пилот, бледный как полотно, вцепился в руль высоты. По виску его сползала капля пота, а темная жила подрагивала. Второй держался лучше. Впрочем, и ему конструкция виделась ненадежной. После дракона дирижабль кажется массивным, неподъемным и в то же время невероятно хрупким.

Люди думают о баллонах, заполненных блау-газом, о том, сколь тонка их оболочка, сделанная из газонепроницаемой ткани. И что килевая ферма, позволяющая сохранить форму, не способна защитить от пробоины. Они знают о том, что утечка из всех отсеков на борту маловероятна, а заполнение резервных даст цеппелину возможность продолжить полет, что даже при потере трети объема несущего газа «Янтарная леди» удержится в воздухе... и что в случае аварии опускаться на землю она будет медленно.

Люди смотрят на Брокка едва ли не с ненавистью.

Он создал драконов, а теперь и это...

— Давай выше. — Мастер, отеснив пилота, сам сел за штурвал.

Красное дерево и теплота слоновой кости. Бронза и медь приборной панели. Высотомер отсчитывает футы. За стеклом — синева, и Брокка тянет распахнуть окно, впуская на мостик холодный горный воздух. Его пьянит ощущение полета, собственного всеисия — ведь получилось же...

Курс проложен.

И в Найкэме их ждут.

— Запускай, — скомандовал Брокк, и спустя мгновение глухо заворчали моторы.

Все будет хорошо.

Это ведь не первый полет «Янтарной леди», она уже поднималась в воздух, зависая над полигоном, описывая круги, подбираясь к самым облакам и выше облаков. И зимнее солнце согревало серебристую ее шкуру. Она ходила по ветру и против ветра, проламывая загустевший вязкий воздух. Она возвращалась, чтобы стать на причал у стыковой мачты. По ней же, теряя давление в баллонах, спускалась в уютное ложе дока.

Терпеливая.

Меняющаяся раз от раза. И с каждым днем — все более совершенная.

«Янтарная леди» ждала своего часа. И дождалась. А значит, дойдет.

— Позвольте, мастер? — Первый пилот окончательно совладал с волнением, и Брокк уступил ему штурвал, но мостик не покинул.

Синева.

Впереди, отделенная тонким стеклом, обрамленная стальными полосами рам. Лоскутное одеяло земли где-то далеко внизу. Ощущение свободы, пусть и не такой, которую

далили крылья дракона.

...Пассажирская гондола на двести мест. Два грузовых отсека, для малых и крупных грузов. Сердце-кристалл и пара моторов, собранных по проекту Инголфа, который был не особо рад оказать помощь, хотя втайне и гордился, полагая, что без его моторов «Янтарная леди» не сдвинулась бы с места.

Потолок в пятнадцать тысяч футов.

И дальность — сотни лиг.

Близкое небо для многих.

— Приближаемся, — подал голос первый пилот и замолчал, больше не отвлекаясь на Брокка, словно позабыв и о собственном страхе, и о присутствии на мостике посторонних.

Мастер не считал себя совсем уж посторонним. Он наблюдал за людьми и слушал корабль.

«Янтарная леди» пела.

Скрипела обшивка, гудели, расправляясь, газовые баллоны. И рокочущие, воняющие селитрой моторы Инголфа работали ровно, подгоняя тяжелую тушу корабля. Со стороны, должно быть, величественное зрелище — сигара серебристого окраса, разрисованная золотом энергетических контуров. Тень ее медленно наползала на городские предместья, и сам воздух, казалось, скрипел, тянулся, удерживая тушу корабля.

Скоро уже.

Виднеется тонкий шпиль стыковочной мачты. И «Янтарная леди» медленно заходит с подветренной стороны. Брокк уже видел это. Черную пуповину каната, которая разворачивается, зависая в воздухе. Людей, что сбегаются к ней, облепляют, пытаются удержать. И, связав два гайдтропа воедино, спешат отойти. Тонко взвизгивает паровая лебедка, натягивая струну каната. Дирижабль подползает к мачте.

Столкновение.

И скрежет. Привычный страх, что корпус все-таки не выдержит. Облегчение. И мерные щелчки замков. Замолкают работавшие вхолостую двигатели. Воцарившаяся тишина бьет по нервам. И пилот, поднимаясь с места, нарушает ее:

— Причалили. Сейчас спустят, и... получилось.

Теперь он улыбается, пусть бы и изо всех сил старается сохранить серьезность, напоминая себе, что этот полет — первый из многих и ничего-то в нем нет особенного.

Не выходит.

Он одергивает белый китель. И второй пилот ждет разрешения.

Брокк же, проведя ладонью по приборной панели, прощаясь с кораблем — и это его создание уйдет, — разрешает:

— На высадку.

Спуск по тонкой металлической лестнице, вмонтированной в тело мачты, довольно-таки неудобен. Позже здесь поставят подъемник и кабину для пассажиров, но сегодня и так сойдет.

Холодный ветер толкнул в плечо, развернул белый стяг шарфа. И Брокк кое-как затолкал его под куртку. Остановился, окинул глазами толпу. Людей собралось... и красную дорожку расстелили по грязи. И оркестр виднелся, сиял золотом труб. Раскрылись над головами дам разноцветные зонтики, покачивались на ветру, кренились цветами на осеннем поле.

Взгляд зацепился за светлое пятно.

Кэри, его янтарная девочка.

Леди.

И стоит чуть в стороне. Наверняка хмурится, пытается скрыть волнение. Ей не хотелось отпускать Брокка.

Опасно ведь.

А он не мог иначе. Кому как не Брокку быть первым пассажиром «Янтарной леди»? И первым же ступить на изрытую дождями землю. Под ногами хлюпнуло, на красной дорожке проступили пятна влаги, а парочка репортеров, изрядно околевших, одетых слишком легко для осени, спешно замахала руками, требуя остановиться.

— Мастер, нужно сделать дагеротип! — заговорил тот, что повыше. Этот был в пальто, по-позерски расстегнутом. Впалые щеки его покраснели, а голос сделался подозрительно сишлым.

— Наши читатели желают знать, — его поддержал коллега, он вырядился в кожанку, причем не лучшего качества, и теперь то и дело ежился.

От ветра кожа не спасала. И поднятый воротник был слабой преградой.

— Будьте добры стать вот сюда...

— ...много времени не займет...

— ...и команда, естественно...

— ...покорители воздуха...

Они говорили то вразнобой, то вместе, и неприметный тип в меховом тулупе колдовал над аппаратом, вздыхая, что свет слабый и это скажется на контрасте. Он поджигал магнезию, и вспышка ослепляла всех. От улыбки сводило лицевые мышцы, и люди чувствовали себя неудобно, но...

...нельзя иначе.

О «Янтарной леди» должны узнать, пусть как о диковинке, но реальной, способной изменить мир. Небо будет открыто для всех...

И Брокк говорил. О небе. О том, что воздушный корабль совершенно безопасен, что путешествие на нем будет быстрым и куда более комфортным, нежели на дилижансе, что вскоре все города Королевства свяжет воздушная дорога и...

Он сам охрип, и голос то и дело срывался.

И когда репортеры наконец отпустили, грянул оркестр. Замерзшие музыканты старались играть громко, шумом скрадывая разноголосицу. Но Брокк уже не обращал внимания ни на холод, ни на оркестр, ни на оцепление, которое рассасывалось, пропуская любопытных на поле. Он спешил туда, где с букетом цикламенов ждала его янтарная леди...

Не сорваться на бег.

Удержаться. Преодолеть неподобающее желание обнять ее.

Поцеловать.

Подобной вольности не простят, да и... граница установлена, устоялась. К чему нарушать ее?

— Мастер, — она шла навстречу, нимало не заботясь о том, что вновь бросает вызов обществу, — я так соскучилась по вам, мастер...

Не цикламены — лаванда.

Шляпка-таблетка. Вуаль, которая обрывается у линии губ. И черная мушка на сетке. Мягкий подбородок. И золотистый шелк шарфа складками. Аккуратный воротничок жакета полувоенной формы. Узкие перчатки единственным темным пятном. Лэрдис из рода Титанидов сияла золотом.

...янтарем.

— Я подумала, что, быть может, ты не станешь возражать против этой встречи. — Она протягивает лаванду, которую Брокк берет машинально.

И отступает.

— Ты изменился. — Лэрдис улыбается. Она не делает попытки остановить его, но поворачивается, берет под руку, и снова он теряется, не зная, как себя вести. — По-прежнему слишком хорошо воспитан...

В ее ушах — янтарные серьги. И жакет отделан солнечным камнем.

— Прости, но мне не кажется, что это прилично.

— Тебя все еще волнуют приличия? — Лэрдис смеется и, обернувшись, машет репортерам рукой.

...что о ней подумают?

И о нем?

Чего ради? Скандала, который неизбежен? Славы?

Прихоти?

Спросить? Но не ответит, засмеется только. Глупо как получилось... и ведь подумают, конечно, подумают. Вспомнят тот давний неудачный роман, переврут, перепишут наново, смешав выдумку с правдой. Щедро приправят домыслами.

— Прости, — Брокк убрал ее руку со своей, — но меня ждет жена.

Лэрдис не услышала. Она вновь оглянулась, остановив взгляд на дирижабле.

— Красивое название... как ты догадался, что я люблю янтарь?

Кэри хотелось убить мужа.

И эту отвратительную женщину, которая держалась так, словно бы Брокк был ее собственностью. А он, кажется, не имел ничего против.

Улыбался.

Говорил что-то...

И она смеялась, запрокидывая голову, и шелковый шарф сползал, обнажая белую мягкую шею.

Противно.

— Лэрдис вновь взялась за старое, — раздалось над ухом, и Кэри обернулась.

Военный.

Из высших. Немолод, но и не сказать, чтобы стар. Статен. Широкоплеч. И по-своему привлекателен. Черты лица прямые, резковатые, но в целом приятные. Светлые, наполовину седые волосы собраны в хвост. Но это — единственная вольность, которую он себе позволил.

— Мы с вами не были представлены друг другу. — Военный поклонился: — Хальгрим из рода Черного Титана.

— Кэри.

Кем ему приходится Лэрдис? И Хальгрим ответил, пусть бы Кэри и не задала этот вопрос вслух:

— Кузина. И жена.

Жена? Женщина, которая, презрев все писанные и неписанные правила, ступила на красную дорожку? И на глазах у всех обняла Брокка? Буквально повисла на нем?

— И вы...

— Боюсь, отчасти виноват в том, что Лэрдис такая. — Военный подал руку. — Здесь

очень ветрено. Вы позволите?

Кэри бросила взгляд на мужа, который, склонившись к Лэрдис, что-то ей говорил. Позволит. Иначе она сделает что-то, за что будет стыдно.

Разревется, к примеру.

Или вцепится этой твари в волосы.

Какое недостойное леди желание, но главное, что выполнимое... Она заставила себя выдохнуть. И приняла руку Хальгрима. В конце концов, ее собственный муж настолько занят, что, вероятно, и вовсе не заметит отсутствия Кэри.

Ушла она недалеко, к разноцветным палаткам, разбитым прямо на поле. И ветер скользил по матерчатым крышам, пробовал на прочность стены. Палатки вздрагивали, натягивали до предела веревки, словно собираясь взлететь. Но колышки, вбитые в землю, удерживали их на привязи.

— Вы ведь не откажетесь от горячего шоколада? — Хальгрим позволил себе коснуться края шляпки. — Полагаю, вы замерзли не меньше моего.

— Не откажусь.

И да, замерзла. День был зимним, стылым. И ветер метался по полю, скользил под ногами белой поземкой, а к полудню выползло солнце, но теплее не стало.

...а ведь до зимы еще почти месяц.

— Прощу вас. — Хальгрим подал высокий стакан, обернутый мягкой тканью. — Насколько я знаю, шоколад обладает удивительным свойством поднимать женщинам настроение.

— Зачем вы...

— Чувствую свою вину.

— Передо мной?

— Перед вами, перед вашим мужем, который, сколь мне известно, вовсе не глуп. Однажды он уже обжегся, и этого, полагаю, хватило...

...о да, хватило, ровно настолько, чтобы держаться подальше от Кэри, хотя она-то ничего ему не сделала! Брокк же упорно не позволял ей приблизиться, но стоило появиться Лэрдис, и...

Кэри раздраженно глотнула шоколад и закашлялась, до того горячим был напиток.

— Осторожней. — Хальгрим подал платок. — Не спешите. А Лэрдис... не всегда была такой.

— Зачем она... — Кажется, сегодня день недоговоренностей, но Кэри очень сложно подобрать правильные слова.

— Мстит.

— Кому?

— В основном мне. Но и всему миру заодно тоже.

— Но почему?

— Потому что я ее не люблю и не ревную. Это сложно объяснить, милая девочка, но я попробую. — Хальгрим повел Кэри к тенту, под которым располагались плетеные кресла. — Боюсь, теперь Лэрдис не вызывает у меня ничего, кроме досады...

Издали доносились рваные звуки марша. Оркестр старательно играл, мешая лавочникам, старавшимся перекричать его.

Праздник.

Почти ярмарка. С неизменным кукольным театром, за грязными занавесями которого

скрывается нетрезвый кукольник. Куклы, надетые на руки его, кланяются, корчатся, доигрывая нехитрую пьесу. И тощий паренек в чужом, непомерно огромном пиджаке обходит редких зрителей с протянутой рукой.

В шляпу падают монеты, и паренек кланяется.

Лоточница придирчиво разглядывает оставшийся товар... и в стеклянную банку кладет новую порцию леденцов на палочке. Она ступает неторопливо, и лоток покачивается. Позвякивают в банке засахаренные орехи и перекатываются обернутые в золотую фольгу каштаны.

Ряженая гадалка порывается предсказывать судьбу... акробат в драном трико выплясывает на канате, и зазывала предлагает сбить танцора набитыми песком мячами. Желающих находится много.

Шумно.

Весело. И это веселье делает обиду горше. И Кэри запивает ее шоколадом, который уже остыл.

Кэри сложно представить подобное. Лэрдис была... красива. Элегантна. И вызывающа.

— Ее поведение наносит вред прежде всего ей самой, но разве она признается? Нельзя сказать, что наш брак был ошибкой. Роду требовался наследник, а Лэрдис представлялась весьма подходящей кандидатурой. Молода. Сильной крови. И характером, как показалось, обладала легким. И в любом ином случае у нас могло бы получиться, но, боюсь, к тому времени... мое сердце, если можно так выразиться, было занято. К сожалению, вряд ли мой род и Король одобрили бы брак с человеком. — Хальгрим остановился и провел ладонью по щеке. — И Мия понимала, что у меня есть обязательства. Ей было больно, но она смирилась. А вот Лэрдис не захотела.

Тент кое-как защищал от ветра, и Кэри присела.

— Я попытался объяснить, что не собираюсь ее в чем-то ограничивать, что после рождения наследника она будет совершенно свободна в выборе.

Это признание должно было бы шокировать, но Кэри не испытывала шок.

Отвратительно? Скорее печально. И Хальгрим задумчиво поглаживает щеку, пальцы касаются родинок, словно пересчитывают их.

— Она же потребовала бросить Мию.

— Вы не согласились?

— У нас четверо детей... младшенькой недавно исполнилось три. — Ему шла такая улыбка, искренняя, радостная. — Да, Мия не так красива, но... одной красоты недостаточно. Лэрдис никогда не могла этого понять. Знаете, было время, когда я ей сочувствовал. И считал себя виноватым. Она родила мне сына и... да, я люблю всех своих детей, но именно он станет наследником. Поэтому я не позволил ей оставить ребенка при себе. Хельги должен учиться, в том числе учиться думать сам и принимать решения. И я понимаю, что поступил правильно, что если бы оставил при ней...

— Она бы отравила его ненавистью.

Кэри закусила губу, кляня себя за то, что не сумела промолчать. И все-таки... будь отец хоть немного сильнее, сумей он переубедить леди Эдганг и отправить Сверра в школу... или просто отослать куда-нибудь, неважно куда, главное, чтобы подальше, может, и Сверр не сошел бы с ума от чужой ненависти?

— Именно. — Хальгрим смотрел на нее задумчиво. — Я знаю, что произошло с вашим братом. И мне жаль, но эта жалость постороннего человека. Хельги нормален, как и прочие

мои дети. Они знакомы друг с другом, и после моей смерти Хельги позаботится о сородичах. Лэрдис это злит... Проклятье, я ей говорил, что не запрещаю видеться с сыном. Я бы принял и других детей, пусть и рожденных не от меня, если бы ей стало легче.

— Она вас любит?

Наверное, вопрос был смешон, но смеяться Хальгрим не стал.

— Она говорила, что любит, но... по-настоящему она любит свои обиды. Всем нам приходится чем-то жертвовать, Кэри из рода Лунного Железа. Но кто-то зализывает раны и находит в себе силы жить дальше, а кто-то носится со своим горем всю оставшуюся жизнь. Это опасная дорога. Гнилая.

— Лэрдис...

— Предпочла оставаться несчастной, а поскольку этого мало, она делает несчастными всех вокруг. Сначала она заводила романы, чтобы досадить мне. Меняла любовников, выбирала из моего ближнего круга. Женская глупая месть. Да, признаюсь, меня задевало, и не ее предательство, поскольку я с самого начала готов был к нему. Но в том, что твои друзья спят с твоей женой, есть что-то... неприятное.

Кэри кивнула, подавив вздох. А шоколад совсем остыл. И признаться, она замерзла, ног вот совсем не чувствует. Ее башмачки из телячьей кожи промокли. И чулки шелковые тоже.

— Когда она поняла, что я не собираюсь ее останавливать, равно как и ограничивать, оскорбилась. Нет, все-таки это не любовь. — Хальгрим покачал головой и замер, подперев щепотью подбородок. — Самолюбие. Раненое женское самолюбие. Ведь моя Мия — всего-навсего человек и...

У него голос менялся, когда он произносил имя той, другой женщины, а черты лица смягчались, казалось, что Хальгрим с трудом сдерживает улыбку.

Он ведь и вправду любит свою Мию, женщину, родившую четверых детей, и младшенькой — только три. И в свои три года она знает, что ее любят. И это, наверное, много. Мать от нее не отказалась и не откажется, а отец не спихнет на гувернанток, посчитав, что тем самым исполнил свой долг... и зависть, проснувшаяся в Кэри, бессмысленна, да и беззуба.

К чему сравнивать?

— Лэрдис придумала новое... развлечение, если так можно выразиться. Решила, что раз уж она несчастна, то и другие ничем не лучше. Она стала играть с людьми. Выбрать. Заинтересовать. Влюбить. И когда влюбленный мальчишка готов бросить мир к ее ногам, отвернуться.

Брокк не мальчишка, но... он ведь и вправду был готов бросить мир к ногам Лэрдис, а ей всего-то хотелось досадить мужу, которому она была безразлична.

— Лэрдис несколько увлеклась. — Хальгрим потер ладони, светлая кожа от холода покраснела. — Бросила вызов Королю, чего делать не следовало. Он с ней спал, но это ничего не значит. Она забылась и была наказана. Лэрдис просили не появляться при дворе. Естественно, она обвинила во всем меня.

Сложно как. Кэри не умеет разбираться в чужих несчастьях, ей бы с собственными справиться.

— Сначала она сделала вид, что не нуждается ни в Короле, ни в его милостях, но когда и остальные отвернулись... она многим успела досадить. И вдруг оказалась в одиночестве, а одиночество опасно тем, что не каждый способен вынести встречу с собой.

— И чего она хочет?

— Вернуться. — Хальгрим наклонился и, коснувшись щеки ледяными пальцами, вдруг подмигнул: — Смотрите на меня, леди, и улыбайтесь.

— Зачем? — шепотом спросила Кэри.

— Затем, что все-таки я, наверное, в глубине души мстительное существо...

Она ничего не поняла, но не отстранилась. От Хальгрима из рода Черного Титана пахло ванилью и корицей, свежей сдобой, имбирными пряниками...

— Она потребовала, чтобы я заступился за ее честь. Я ответил, что заступаться уже не за что. В конце концов, Лэрдис сама виновата, пусть сама и просит прощения. Но это слишком для нее... вот она и нашла альтернативное решение.

Он похож на Брокка, нет, не внешне. Взглядом. И этими морщинками, что разбегались от уголков глаз. Улыбкой. И манерой касаться осторожно, точно опасаясь прикосновением оскорбить.

— А ваш муж возвращается в город. Он в фаворе... и если попросит Короля, тот пойдет навстречу. Только, боюсь, на сей раз она несколько недооценила противника.

Хальгрим сдержанно поклонился.

— Не позволяйте ей портить себе жизнь, милая леди.

Хотелось бы Кэри, чтобы все было так просто.

— Улыбайтесь чаще. Вам очень идет улыбка. Мастер подтвердит.

Брокк?

Стоит в отдалении, смотрит так... нехорошо. Сердится.

Определенно.

И давно он... наверняка, давно. Хальгрим его заметил, и поэтому... со стороны могло показаться... Кэри вспыхнула. Жила предвечная... он же подумал... решил...

И пускай себе.

— Надеюсь, — голос Брокка звучал сухо, жестко, — я не помешал беседе?

— О нет, мы уже закончили. Буду рад встретиться с вами снова, милая леди. — Хальгрим смеялся, по глазам видно, но Брокк этого не замечал, как и острых игл живого железа, которые проступали сквозь волосы.

Он ревнует?

Ревнует.

Но кого? Кэри или Лэрдис?

— В таком случае нам пора. — Брокк подал руку. А во второй держит букет, тонкие стебли лаванды, перевитые золотой лентой.

Он молчал до самого дома, глядя в окно. И Кэри не спешила начинать разговор.

— Все пошло не так? — Брокк стащил перчатку и раздраженно пошевелил пальцами, глянул на руку и скривился.

— Я... волновалась.

— Знаю. — Его взгляд потеплел. — И прости, что... вышло так глупо.

— И ты меня.

— За что?

— За что-нибудь... не сердись, ладно?

— Не сержусь. Не на тебя. — Он дотянулся до руки Кэри. — А цветы мне отдашь?

— Они промерзли...

— Все равно отдай.

— Зачем?

— Мое ведь. — Брокк разжал ее пальцы, высвобождая букет. — Я не намерен уступать свое кому-то.

Кэри показалось, что говорит он вовсе не о цветах.

— Ты смерти моей хочешь? — Таннис обеими руками вцепилась в стек и попятилась. — Я... я на такое согласия не давала!

— Дашь.

— Стой! — Она выставила стек, и кончик его уперся Кейрену в грудь. — Не подходи! Я никуда не поеду! Я... я кричать буду!

— Кричи, — согласился он, отводя оружие. — Здесь нас не услышат.

На конюшне и вправду было тихо.

Пахло сеном, опилками, мешки с которыми стояли возле денников, свежей соломой, лошадьми и хлебом. Деревом. И яблоками. Оседлавший колоду мальчишка-конюший чинил упряжь, а карман его куртки подозрительно оттопыривался, и соловый жеребчик, привлеченный запахом, просовывал морду через прутья, хлопал губами и фыркал, выпрашивая угощение. Мальчишка отмахивался, а жеребчик вздыхал.

— Ты... ты сказал, что мы гулять будем!

Отступить Таннис было некуда, и она прижалась спиной к деннику.

— Будем. — Кейрен стек отобрал. — Верхом.

— А... а давай без верха?

Он покачал головой и, глянув на мальчишку, увлеченного работой, сгрэб свою Нису, поцеловал в лоб.

— Не надо бояться.

— Я же не умею. — Таннис почти сдалась, упираться продолжала исключительно из врожденного упрямства.

— Умеешь. Я видел.

— Так это же... это же просто... пару раз... и на манеже.

— В парке ничуть не сложнее. Вот увидишь. Все будет замечательно... Это не сложнее, чем варенье варить. — Кейрен коснулся розовой щеки, на которую легла тень. — Вот увидишь... только представь, как ты будешь смотреться верхом.

— Дура дурой. И на лошади.

— Я тебе помогу.

Ей к лицу амазонка из темно-синего бархата. И короткий жакет, отделанный золотым позументом. И шляпа-цилиндр с вуалеткой. И перчатки из светлой кожи, скрывающие руки — с них так и не сошли мозоли, пусть бы сами эти руки стали мягче.

Год прошел.

Целый год, а Кейрену оказалось мало.

— Ну же, скажи, что согласна?

— Когда я тебе отказать могла, а ты и пользуешься... знаешь, кто ты после этого?

— Кто?

— Гад ты... с кисточкой, — проворчала Таннис, отворачиваясь. И румянец ей к лицу. Она так и не научилась прятать чувства.

— Какой уж есть.

Кауряя лошадка отличалась на редкость спокойным нравом. Одарив Таннис меланхоличным взором, она совершенно по-человечески вздохнула и приняла угощение.

— Ты... не сердись. Я постараюсь аккуратно. — Таннис провела по бархатистой шее, и

лошадка кивнула. — Ты ж меня знаешь.

Лошадка коснулась ладони губами, соглашаясь, что знает. Помнит. У лошадей ведь хорошая память.

— И не сбросишь?

— Не сбросит, — пообещал Кейрен.

В седло поднял сам, позволив себе задержать Таннис в объятьях. Нарушение правил? С ней было на удивление легко и приятно правила нарушать.

...да и в первородную бездну эти правила.

— Одну ногу в стремя... умница. Сейчас под тебя подтянем. Вторую — на крюк. Вот видишь, ты все прекрасно помнишь и умеешь.

Он расправил подол амазонки, стараясь не рассмеяться, до того серьезной, сосредоточенной выглядела Таннис. Ей понравятся верховые прогулки, как понравился каток и театр, магазин Мейстера и спуск по реке. Тогда она, забравшись в лодку, пробормотала:

— Только попробуй меня утопить!

И поначалу сидела неподвижно, боясь отпустить высокие борта гондолы, но успокоилась быстро...

Ее было легко радовать.

Удивлять.

И Кейрену нравилось ее удивление с привкусом осеннего дыма: на берегу вновь жгли костры из листьев, и прозрачный дым растекался по воде, скрадывая запахи. В нем вязли каменные опоры мостов, и старая баржа пробиралась осторожно, на ощупь. Дым сохранился и на губах Таннис, на коже ее, по-осеннему холодной. Он остался ранней сединой кленов, что виднелись из окна ее квартиры.

...их квартиры. Кейрен давно уже переселился на улицу Пекарей, в дом с мезонином и медным флюгером, который упорно показывал северные ветра — застрял, должно быть.

— Сидишь? — передав поводья Таннис, Кейрен отступил.

— Сижу, — мрачно отозвалась она.

— Тебе понравится, поверь мне...

— Верю. — Улыбка у нее была яркой, искренней. Ей никто не говорил, что леди пристало быть сдержанной и уж тем более не обнажать при улыбке зубов.

Даже если эти зубы на месте и весьма хороши.

— Тогда вперед. Просто держись за мной. Пойдем шагом. — Кейрен взлетел в седло, и караковый жеребец довольно фыркнул, заплясал. Он наверняка застоялся и уж точно не был бы против пойти рысью, но подчинился воле всадника.

А парк ждал гостей.

Зима пробралась в город, пусть по календарю еще значилась осень. Поседела за неделю трава, легла длинными космами, сквозь которые проступали серые залысины земли. И редкие пятна суховея, лилового, хрупкого, — яркие мазки краски на темном полотне. Гулко стучат копыта по мощеной дорожке. Длинные тени деревьев сплетаются ветвями, и прорастают сквозь них темные столбы фонарей. Время раннее, но под стеклянными колпаками уже вьется белесое пламя.

— Как ты? — Кейрен придержал поводья и обернулся.

Хорошо.

Кобылка шла мягко, и Таннис постепенно успокаивалась. Ветер приподнял вуалетку, и она, словно опасаясь, что высокий цилиндр сорвет с волос, придерживала его рукой.

Зарумянилась.

И глаза горят. Ему безумно нравится, когда у Таннис глаза горят.

— Тогда чуть быстрее? Главное, равновесие держи. Если вдруг почувствуешь, что не справляешься, просто натяни поводья.

Она кивнула и улыбнулась.

— Кейрен...

— Да?

— Спасибо... за все.

Пожалуйста.

И снова парк, такой знакомый, изученный, но ныне открывающийся с другой стороны. Дорожки. И высокая стена кустов снежников. Листья облетели, а ягоды остались, крупные, белые.

Старый тополь.

Суетливые синицы...

Широкая горловина ручья и каменный мостик, на котором остановились две девушки в форменных платьях пансионеров. Светлые головы, склоненные друг к другу, и длинный багет, один на двоих. Пальцы отламывают кусочки, бросая в воду, где уже собрались серые жирные утки, слишком ленивые, чтобы улетать на зиму...

Кейрен свернул на боковую дорожку.

Жаль, что шарманщик оставил свой пост до весны. Таннис нравилась и шарманка, и обезьянка, которая забиралась на руки, выпрашивая подарок...

На центральной аллее ныне было пусто.

Почти.

Лаковую двуколку Кейрен заметил издали. Запряженный парой длинногривых тарпенов, экипаж неторопливо катился по дорожке. Дремал на козлах кучер. И белым грибом поднимался кружевной зонтик, несколько неуместный при нынешней погоде. Впрочем, мама утверждала, что леди Ольмер и в зимнюю стужу с зонтиком не расстанется, что этих зонтиков у нее целая коллекция, которая занимает три комнаты, пожалуй, больше лишь коллекция шиньонов леди Индорф.

Свернуть возможности не было, и Кейрен пришпорил жеребчика, выбиваясь вперед.

— Добрый день, леди Ольмер, — сказал он, поравнявшись с коляской. Леди Ольмер, завернутая в соболиную шубу, подняла лорнет. Не то чтобы она плохо видела, однако лорнет, как и зонтик, в ее представлении являлись необходимыми для леди атрибутами. — Рад встрече... вы по-прежнему прекрасны.

Леди Ольмер разглядывала его через лорнет и неодобрительно хмурилась.

Ее племянница, снулая девица, чье имя Кейрен отказывался запоминать — как и имена прочих, благообразных, по мнению матушки, девиц, которые вполне могли бы составить Кейрену партию, — поджала губы. Вот только смотрела она вовсе не на Кейрена.

Таннис придержала кобылку.

Она умница, его девочка... и все-таки придется явиться к субботнему ужину, дабы смягчить матушкино недовольство... и непонятно, отчего ей столь не по нраву Таннис. Прежде-то она делала вид, что личная жизнь Кейрена ее не касается, а теперь вдруг заинтересовалась. И ладно бы только любопытствовала, нет, матушка мягко, исподволь, но настойчиво просит найти другую девушку. Она не говорит напрямую, подбирает слова тщательно, как перья для нового своего букета, но осадок остается мерзковатый. И семейные

ужины, прежде бывшие вполне себе приятной частью жизни Кейрена, давно стали в тягость...

— Как ваше здоровье? — Кейрен решил до последнего быть вежливым. И зонтик леди Ольмер опасно накренился, а лорнет задрожал в сухой руке. — Надеюсь, вас больше не мучит подагра?

— Благодарю, ваша матушка посоветовала мне чудесного доктора. — Леди Ольмер, приняв какое-то решение, вероятно касавшееся судьбы единственной племянницы, в которой она вполне искренне души не чаяла, радушно улыбнулась. — К слову, как она поживает?

— Весьма неплохо.

...достаточно хорошо, чтобы появиться в Управлении с плетеной корзинкой и платочком, который она трогательно прижимала к груди, глядя на Кейрена с молчаливым упреком. Как мог он проигнорировать вечер у леди Эржбеты? Его так ждали, так надеялись...

...а он не проигнорировал, собирался пойти, но потом как-то из головы вылетело, о чем Кейрен несколько не сожалел. Кажется, именно тогда они с Таннис устроили пикник на клетчатом одеяле. Был узкий камин и плетеная корзинка. Свежая выпечка, мягкий сыр и темное терпкое вино, которое Кейрен разлил на одеяло...

...было молчание на двоих.

И ее рука, замершая на груди. Задумчивый взгляд, в котором отражалось пламя. И всполохи на бледной коже. Отросшие волосы, начавшие завиваться, и веснушки... Таннис их целое лето свести пыталась, а они, обласканные солнцем, не уходили. Хорошо, что не уходили.

Без веснушек Кейрену было бы одиноко.

— Надеюсь, — леди Ольмер выставила лорнет, едва не задев племянницу, — мы с нею вскоре увидимся...

В этом Кейрен не сомневался. О нет, он любил свою матушку, но порой ее чрезмерная забота начинала раздражать.

Эта встреча испортила прогулку. И жеребец, чувствуя настроение всадника, шел неторопливо, то и дело вздрагивая, а Кейрен позволял коню выбирать дорогу. Остановился тот у заводи. Здесь листья не убирали, и темно-бурый ковер опада успел пропитаться влагой, а на его поверхности проступали ледяные нити.

Кейрен спешил и, забросив поводья на сук, поспешил к Таннис.

— Ты как? — Он снял ее с седла, но на землю не поставил.

— Мне... пожалуй, понравилось. — Таннис стянула перчатку и погладила его по щеке. — Сидишь себе, а она идет... Красота! Отпустишь?

— Неа.

— Я тяжелая.

— Это тебе кажется...

— Ты расстроен.

И ведь соврать не получится, она на удивление тонко чувствовала его ложь. И его настроение. И с настроением этим умела ладить.

— А еще у тебя уши замерзли. — Теплые ладони прижались к ушам.

И вправду замерзли.

Кейрен потерся носом о жесткий ее рукав.

— Это из-за той старухи? — Таннис заглянула в глаза. — Она донесет твоим родителям,

что ты опять меня выгуливал?

— Прогуливал. Выгуливают собак.

— Хорошо, — легко согласилась Таннис. — Она донесет, что я тебя выгуливала. Это запрещено?

— Не принято.

Опасные вопросы, которые раньше и вопросами не казались, но напротив, неписанные правила спасали Кейрена от лишних забот.

— Почему?

— Потому что... — Он взгляд отвел. Как объяснить Таннис, что ее пребывание в парке днем неуместно? Что сам ее вид оскорбил и леди Ольмер, и бесцветную ее племянницу? А заодно и матушку Кейрена? Что любовниц не принято выводить... ладно, не в свет, но в театр.

И в магазинчик старика Кассия, где пахнет книжной пылью и чернилами, а на полках бок о бок живут и любовные романы, и философские трактаты, и садоводческие календари. И в задней части магазина за шелковой ширмой прячутся столики, где можно присесть с приглянувшейся книгой... Таннис понравился старик, а она — ему.

Вот только книги он обещал присылать на дом.

...сами понимаете, господин Кейрен, мои клиентки не одобряют...

Понимает.

Но принять не выходит. И все-таки Кейрен ее опустил на землю, но отступить не позволил, прижал к себе.

— Я тебя не отдам.

— Бестолочь ты. — Таннис взъерошила ему волосы. — Рано или поздно...

— Никогда.

— Кейрен... — Она разомкнула кольцо его рук. — Давай не будем об этом? День хороший... смотри, утка! Жирная какая! А на курсах нам показывали, как утку готовить с черносливом...

Утка выбралась на берег и, отряхнувшись, заковыляла к лошадям. Она была толстой и неповоротливой, ко всему вряд ли догадывалась о коварных планах Таннис. А та говорила о своих курсах и о варенье из красной и белой смородины, которое у нее получилось лучше, чем у остальных, значит, даром Таннис столько времени потратила, гусиным пером косточки выковыривая... и о других курсах, где ее тоже хвалили и...

Голос был неестественно бодрым, и, когда она, устав говорить, замолчала, Кейрен снова ее обнял.

У них есть этот день.

И пруд.

Утка растреклятая, лошади. А дома ждет камин и клетчатый плед с винным пятном...

...спящим, он казался таким беззащитным.

По-прежнему худой и жилистый, с бледной кожей, которая на локтях была шершавой, треснутой. И Таннис гладила трещинки. Знала — не проснется.

Сон у него был на редкость крепким.

И хорошо. Можно смотреть, не боясь быть застигнутой. Не то чтобы она делала что-то неприличное, из того, о чем не принято говорить — а как Таннис усвоила, многие темы являлись запретными, — но было как-то неловко.

Сколько им осталось?

Дни?

Недели?

Месяцы? И во сне Кейрен продолжает гадать, оттого и хмурится. А она, дотянувшись до губ, гладит их, нашептывая:

— Я здесь.

Рядом. Пока еще... быть может, повезет и их связь продлится год... или два. Сколько бы ни было, своего Таннис не отдаст. Будет больно? Обязательно будет, она ведь с самого начала все понимала правильно. Кто она?

Она уже сама не знает кто.

Прежняя Таннис мертва, а новая... содержанка?

...Кейрен повернулся и, не открывая глаз, пробормотал:

— Что?

— Ничего. — Она потерлась носом о его щеку. — Спи.

— О чем ты думаешь? — Спросонья его глаза были темными, черными почти. И Кейрен жмурился, давил зевок.

— Ни о чем.

О том, что эта жизнь, одолженная, красивая, как рождественская открытка, так и останется чужой. Таннис тесно в ней.

В корсетах.

В чулках шелковых, окаймленных колючим кружевом. Подвязки жмут, а пышные юбки мешают ходить. Да и ходит она иначе, держит осанку... леди Евгения поразовалась бы, наверное.

А Войтех? Увидел бы он леди или как остальные?

Нет, никто ничего не говорит, ведь Кейрен платит за курсы... за все он платит и злится, если Таннис пытается сказать, что она сама справится. Но правда в том, что нет, не справится. Без него тяжело.

А будет еще тяжелее.

...она уже другая, но... леди никогда не станет. И дают ведь понять. Вежливо. Улыбочкой рисованной, от которой внутри все леденеет. Движением бровей. Небрежным кивком и рассеянным взглядом, когда кажется, что смотрят не на нее, а сквозь нее.

Таннис терпит.

И учится.

Ей плевать, что думают остальные благонравные девицы, которые не желают иметь ничего общего с такими, как Таннис. Но им приходится, потому что за Таннис платит Кейрен, и даже не в деньгах дело, в имени, в гербе, в родовом перстне, который он по-прежнему носит.

Пускай.

Надо взять все, что получится.

Варенье это из красной и белой смородины... утку растреклятую, которая вышла жесткой, как подошва, хотя Таннис все делала верно... пейзажи акварелью... искусство декламации...

...и эти ночи вдвоем.

Вечера, когда он приходит уставший... домой. Он так и говорит, что домой, и наверное, вправду верит. Наивный по-своему. Пускай. Есть еще время.

На двоих.

Для двоих.

Но когда-нибудь оно закончится, и тогда... будет объявление в «Светской хронике». И Кейрен, отводя взгляд, заговорит о том, что на свадьбе настаивает семья и что свадьба ничего-то не изменит... почти ничего. Просто где-то появится женщина, которая будет зваться его женой. И он станет возвращаться уже не в квартиру к Таннис, но к ней...

Наверное, будь Таннис другой, она нашла бы силы смириться. Ведь многие живут так, привыкают, приспособливаются... а она не сможет. Пыталась представить, как это будет, и задыхалась от боли.

Перетерпит.

Она сильная. Главное, уйти, разорвать связь, а там и раны зализуются, и жизнь начнется. Еще раз наново? Не привыкать.

— Почему ты плачешь? — Кейрен перевернулся на спину. — Тебя кто-то обидел?

— Никто.

Никто, кому можно было бы ответить за обиду ударом на удар.

— Тогда почему ты плачешь? — Он поймал слезу на ее щеке и, дотянувшись, снял ее мизинцем.

— В глаз что-то попало.

И спеша уйти от опасных вопросов, Таннис наклонилась, прижалась к груди.

— Ты ешь, как не в себя, а все равно тощий... и мерзнешь.

Ноги у него и под пуховым одеялом холодными оставались, и Кейрен под утро начинал ворочаться, одеяло стягивая, пока оно вовсе не оказывалось на полу. Сам же он обнимал Таннис, прижимал к себе и засыпал, уткнувшись носом в ее спину. Она же, напротив, просыпалась и лежала тихо-тихо, отсчитывая мгновения до рассвета. Старая привычка. Все казалось, что совсем рядом раздастся скрип половиц. Хлопнет дверь. И из-за стены донесется ворчливый мамашин голос:

— Вставай уже...

...или загудит, подбираясь к заводским воротам, баржа с углем, выдернет Таннис из сна, который она приняла за настоящую жизнь.

— Ниса... мне с тобой хорошо. — Пальцы Кейрена задумчиво скользили по шее, чтобы замереть на ключице. — Спокойно. Вряд ли ты поверишь, но я никому этого не говорил...

Поверит. Она чувствует, когда он лжет. Или сердится. Или впадает в тоску и тогда ложится поперек кровати, растопырив локти, точно пытаясь защитить эту кровать ото всех, даже от Таннис.

...он приносит с работы усталость и странную, детскую почти обиду, о которой не хочет говорить, но все-таки заговаривает. И, увлекшись рассказом, сам о ней забывает. Таннис же нравится слушать, не столько о делах, сколько о людях, Кейрена окружающих.

О даме-секретаре, которая каждую неделю перешивает кружево на манжетах форменного платья, надеясь, что подобная вольность останется незамеченной. И порой ее окаянства хватает на то, чтобы срезать скучные костяные пуговицы, заменив их ониксовыми. Она чувствует себя отчаянно храброй и прячет в верхнем ящике стола жестянку монпансье.

О констебле и его бакенбардах, которые он расчесывает мелким гребнем и подравнивает крохотными ножничками, а укладывает вовсе пчелиным воском, волосок к волоску.

О тайном увлечении следователя Альберта Бино лотерейными билетами и вере в непременный выигрыш... о людях и нелюдях, окружавших Кейрена. Ему удавалось подмечать

какие-то такие детали, мелочи, которые выглядели забавными, но не смешными.

...какой он видел ее?

Спросить?

Не ответит, да и к чему лишнее знание? Странно лишь, что его сторонятся, считают недалеким, слишком чужим, принадлежащим иному миру.

— Не спится? — Кейрен смотрел, подслеповато шурясь.

— Не спится, — призналась Таннис. — Из-за тебя. Лежишь тут...

— Я ж ничего не делаю!

— Вот именно... лежишь и ничего не делаешь...

Мягкий смех. И ледяная ладонь скользит по спине.

— Исправлюсь, — пообещал Кейрен. — Вот прямо сейчас...

А утро наступило с востока. Пришло с туманами, затянувшими окна молочной взвесью, плеснуло водой на морозные узоры и принесло чудесный аромат кофе.

— Вставай, соня. — Кейрен пощекотал нос. — Завтрак готов.

Суббота. И в кои-то веки она проснулась позже Кейрена.

— А что на завтрак?

— Блинчики. — Он был босым, в рубашке навыпуск. Рукава закатаны, ворот расстегнут. И розовый фартук ему к лицу. — И мед. Есть еще творог со сливками...

Он улыбался.

...конечно, если суббота, то блинчики на завтрак обязательны. И творог в высоких креманках, белая гора, увенчанная пьяной вишней.

Орехи.

И ванильное суфле с мятой.

А блинчики у Кейрена получаются тонкими, кружевными, полупрозрачными.

— Таннис, — он снял фартук, аккуратно повесив на крючок, — нам нужно поговорить.

Сердце екнуло.

Уже?

— Конечно.

Плакать Таннис не будет, не при нем, позже, когда останется одна. Кейрен устроился напротив, снял вишню и, повертев в пальцах, вернул на место.

— Возможно, тебе придется уехать.

— Куда?

Он не спешил с ответом.

— За Перевал... я писал Райдо, он будет рад принять тебя на месяц или два.

За Перевал? На месяц-два? Таннис подвинула чашку. Кофе она, честно говоря, не любила, тягучий, горький, и эту горечь потом водой не запить.

— У него поместье. Яблони цветут... не сейчас, а весной. В принципе цветут. И вообще там климат мягче. Море недалеко. Райдо тебе понравится. И ты ему, думаю, тоже.

В этом Таннис крепко сомневалась, и сомнение свое она зажевывала блинчиком, в кои-то веки не чувствуя вкуса.

— И с его женой вы подружитесь... — не очень уверенно произнес Кейрен.

— Темнишь?

— Есть мнение, что... зима будет небезопасной. — Он зачерпнул творог пальцем и палец облизал. — Таннис, я не должен был бы говорить тебе... я и думать-то об этом не должен.

Кейрен решительно подвинул к себе креманку.

— Прилив начинается.

— В реке?

...чем бы ни был прилив, но Кейрен отсылает ее не потому, что собирается жениться. И глупо радоваться грядущим бедам, но Таннис радовалась.

— В какой-то мере это тоже река, но огненная. Под городом лежат материнские жилы, очень старые, если не сказать — древние. Ты ведь помнишь силу истинного пламени?

Таннис кивнула.

Она желала бы вымарать эти воспоминания, где огонь плясал на развалинах дома, а соседний, искореженный взрывом, медленно осыпался, где к серому небу поднялись серые же бабочки пепла.

Рот наполнялся кровью прокушенной губы.

— Так вот, жилы сильнее в разы... в десятки раз... в тысячи.

— Они прорвутся? — Голос звучит ровно, равнодушно даже.

— Я бы хотел пообещать, что нет, но... если бы только прилив... в город съезжаются все, у кого есть сила... Высшие вот. И вожаки... отец мой возвращается... и братья... и здесь скоро станет оченьлюдно, точнее нелюдно... и в норме этого бы с лихвой хватило, чтобы удержать жилы.

— Но?

— Но, возможно, кое-кто воспользуется ситуацией...

— Бомбы?

— Бомбы, — не стал отрицать Кейрен. Он сидел, упираясь локтями в стол, сунув пальцы в волосы, сторбившись. — И листовки... и люди, которые на грани бунта... и подземники... их пытались зачистить, но никого не нашли.

Таннис удивилась бы, будь оно иначе.

— Мы и до города-то не добрались. Дядя считает, что ты преувеличила, когда говорила о них. А я, как обычно, гоняюсь за призраками. Я бы хотел, чтобы все оказалось именно так. Лучше быть глупцом, который воет на луну в луже, чем... если случится прорыв, Верхний город исчезнет.

Поднявшись, Таннис обошла стол и положила руки на плечи. Острые. И напряженные. А на рубашке пятно... и широкие лямки подтяжек впились в кожу.

— Он ведь строился позже. — Кейрен распрямился и, запрокинув голову, оперся затылком на ее живот. — Там грунт мягкий... закипит все на раз.

— А Нижний?

— Ты сама видела — скалы.

— Значит, это выгодно...

— Таннис, — он перехватил ее руки, — не думай о том, кому и зачем это выгодно. Ты уедешь. Ясно?

— А если нет?

— Уедешь, — повторил Кейрен, руки сжимая. — Я не хочу тобой рисковать.

И тепло, и больно. И отвернуться надо, спрятать предательские слезы. Рисковать он не хочет...

— А ты?

— Я — другое дело. У меня есть долг. Да и, в конце концов, я могу ошибаться.

Он произнес это бодро, но Таннис не поверила.

За Перевал, значит...

...если с ним, то она и на Перевал согласна.

— И еще, — он поцеловал раскрытую ладонь, — не жди меня завтра, ладно? Отец возвращается и...

— Я понимаю.

...отец, братья, семья, частью которой Таннис никогда не станет. Но это будет завтра. У них есть целый день и даже больше...

Она научилась ценить время.

Марта кралась.

О нет, никто не запрещал ей выходить из дому, но прежде у нее и мыслей не возникало о том, чтобы покинуть Шеффолк-холл. Да и сегодняшний побег вовсе не был побегом.

Так она себя уверяла.

И жалась к влажной стене, на которой висели потемневшие от времени портреты.

— И куда вы собрались, дорогая тетушка? — насмешливый голос чужака застиг ее у двери, и Марта вздрогнула, выронив зонтик.

— П-прогуляться захотелось.

Она ненавидела себя за страх и за то, что не способна с этим страхом справиться.

— Сегодня не самая лучшая погода для прогулок, тетушка. — Чужак наклонился за зонтиком.

— Да?

— Конечно. — Голос его был обманчиво мягок. — Холодно. Ветрено. И снег мокрый...

Он предложил Марте руку, и она не посмела отказать.

— А вы одеты так легко... вам следует более внимательно относиться к своему здоровью.

Смеется? Нет, ни тени улыбки в глазах, а губы кривятся, и само лицо — не лицо, но деревянная маска, из тех, что украшают кабинет старого герцога.

— Ко всему, город опасен, дорогая тетушка. — Он вел ее прочь от двери, и Марта оглянулась, понимая, что больше не посмеет нарушить негласный запрет. — А мне бы не хотелось, чтобы с вами произошло несчастье.

— Я... у меня нитки закончились, — пожаловалась она.

Пусть считает ее чудаковатой дурочкой. Дурочек не опасаются.

— Красные. И еще синенькие. Я взялась вязать шарф, ты же знаешь, Освальд, как здесь холодно зимой? И я подумала, что тебе очень пойдет шарф.

— Синий? Или красный?

— Полосатый, — решительно заявила Марта. — Но нитки закончились и...

— Я позабочусь, чтобы сегодня же вам принесли нитки.

— Синие?

— Всякие, дорогая тетушка. Сами выберете. Мне для вас ничего не жаль. — Он остановился перед дверью. — Даже овсяного печенья.

Марта зарозовела, понимая, сколь странным выглядит набитый печеньем ридикюль. Впрочем, разве в этом месте возможно остаться нормальной? Отнюдь.

— Вы же понимаете, — Освальд любезно распахнул дверь, — как сильно огорчилась бы моя матушка, случись с вами какая-нибудь неприятность. Вы — единственный близкий ей человек...

Ульне вновь стояла у окна. И кружевная перчатка цвета слоновой кости почти сливалась с морозными узорами на стекле. Ульне не обернулась, но Марта знала — слышит.

Улыбается.

— А нитки? — Марта вцепилась в рукав чужака. — Когда мне принесут нитки?

— Скоро, тетушка, скоро.

Он осторожно разжал ее пальцы и, наклонившись, коснулся сухими руками ладони.

— Надеюсь, вы мне свяжете теплый шарф.

— Я постараюсь.

Освальд ушел.

— Твой побег — глупость невероятная. — Ульне заговорила не сразу. — Куда ты собиралась идти?

К отцу... нет, отец мертв. Он ушел прошлой зимой, а может, и позапрошлой или того раньше. Этот дом съедает время, делая все дни похожими друг на друга, и Марта заблудилась в них.

Но есть еще брат, которого Марта никогда не видела.

Принял бы?

Как знать... или вот полиция. Полиция должна была бы знать, что Освальд стал другим, точнее, что прежний Освальд исчез, наверняка его убил этот чужак, а нынешний Освальд жуток. От него у Марты немеют пальцы на ногах, а это — верный признак.

Поверили бы ей?

Или тоже посчитали бы сумасшедшей?

Расстегнув ридикюль, Марта выгатила печенье, позавчерашнее, уже твердое, но зубы у нее сохранились, пережуют.

— Не зли его, Марта. — Ульне все-таки отвернулась. Белое платье делало ее похожей на призрака. А ведь и вправду только призрак и остался... была-то другой, до свадьбы своей, до мужа, о котором заговаривать было запрещено, до рождения Освальда. Дом сожрал Ульне, оставив... нечто.

И Марту сожрет.

— Ульне, — она подошла к подруге и взяла ту за руку, сжала, — он не твой сын. Ты это понимаешь?

— Мой.

— Он... он убил Освальда.

— Это Освальд, Марта. — Ульне погладила ее по щеке. — Он просто изменился... повзрослел...

— Он чужак...

— Пойдем, я кое-что покажу тебе...

...родовое древо Шеффолков. Герб с белой розой, которая выделялась в полумраке холла пятном. Черные жилы ветвей. Имена и снова имена, погасшие, забытые, заросшие грязью.

— Винсент Шеффолк. — Ульне нашла имя и, поднявшись на цыпочки, накрыла его ладонью. — Сменил пять жен, и лишь последняя родила ему сына... Винсенту было семьдесят три. Альберт Шеффолк...

Новое имя, и буквы Ульне поглаживает, очищая от пыли.

— ...трое его сыновей погибли во время Чумы. Он вынужден был взять в жены Магдалену Виксби, и она родила ему мальчика... точнее, сначала она родила мальчика, а потом он сочетался браком... Грегори...

Она переходила от имени к имени, выплетая историю древнего рода. И Марта молчала, понимая, что именно ей хотят сказать.

— Освальд нашей крови. — Ульне разглядывала измазанную пылью перчатку. — Просто... он потерялся. А потом нашелся. Так бывает.

— Да, Ульне.

— Ты ведь не станешь больше убегать?

— Нет, Ульне.

— Или вредить моему сыну?

— Нет, Ульне. Конечно нет...

— Хорошо. — Ее лицо озарила счастливая улыбка. — Я рада... Освальд сказал, что завтра ответит нас в театр. Я так давно не была в театре. И знаешь, я подумала, что мы должны устроить прием. Мальчика пора вывести в свет.

И Марта, вцепившись в увесистый ридикюль, пробормотала:

— Конечно, Ульне... ты совершенно права.

Марта задумчиво перебирала мотки шерстяных ниток. Она вытягивала то один клубок, то другой, вертела в пухлых коротких пальчиках и роняла. Порой мотки падали на розовый бархат юбки, теряясь в складках ее, порой скатывались в низкое кресло, порой и вовсе летели на пол.

Ульне поморщилась.

Глупая женщина, беспокойная. И забыв о шерсти, она раскрывает ридикюль, вытаскивает очередное печенье, отряхивает с него пылинки — в ридикюле Марта носит обрезки шерстяных нитей, крючок для вязания и пару деревянных коклюшек, хоть кружевом она не занимается давно.

Печенье она тоже вертит, но не откладывает, как того Ульне ожидала.

Поняла ли она?

Вряд ли. Слабая кровь, потерянная ветвь. Ее отец забыл, кем являлся, а может, и не он, но его отец... или дед... или прадед... вереница предков встала перед внутренним взором Ульне. Она знала имена, ничего, кроме имен, заполнивших страницы старой книги.

...здесь твое прошлое, — сказал отец, положив ладони Ульне на потрескавшуюся кожу переплета. И под тонкими хрупкими пальцами книга ожила.

О да, Ульне прекрасно помнит ее, каждую страницу. Самые первые листы выцвели, а пергамент — тогда бумаги не знали — сделался тонким, хрупким. И вечерами, когда еще было желание и силы, она переписывала историю набело, дотошно, сохраняя каждую букву...

Пергамент сменился бумагой, плотной, рыхловатой.

А позже — тонкой, но тисненой, с белой розой на каждой странице, и где-то среди этих страниц затерялась корона.

Возвратится.

И ради этого стоило жить.

Ульне коснулась губ, стирая улыбку, погладила соболиную накидку, все-таки в доме, несмотря на заботу того, кто представлялся ее сыном, было довольно-таки прохладно, и сказала:

— Передай Освальду, что я хочу с ним побеседовать.

Марта вздрогнула, и очередной клубок выпал из ее пальцев, покатился, остановившись у камина.

— Я?

А побледнела-то как, и вечный ее румянец, явно свидетельствующий о плебейской крови, почти исчез. Почти... все-таки Марта чужая изначально. Слишком уж мало в ней от истинных Шеффолков. Ульне осознала это еще в тот день, когда впервые увидела ее, девушку в нелепом розовом платье. Полнотелую, белолицую...

— Это твоя кузина Марта, — сказал отец, подталкивая девушку, которая поспешила присесть в неуклюжем реверансе. И массивные кринолины закрипели, а припорошенный пудрой парик качнулся. — Я решил, что тебе нужна компаньонка. Марта...

...дочь мясника, у которого помимо Марты еще пятеро детей, и он наверняка обрадовался возможности сделать из дочери леди.

Не вышло. Несмотря на все старания Ульне, годы не прибавили Марте вкуса. Она сохранила любовь к невообразимым нарядам, к дешевым романчикам и вязанию... ладно, пускай.

— Ты, — повторила Ульне. — Тебе следует побороть этот нелепый страх перед Освальдом.

— Я не боюсь.

— Боишься.

— Боюсь. — Она никогда не умела смотреть в глаза и сейчас отвернулась. — Он... жуткий. Ты же чувствуешь...

...силу, ту, которой был лишен ее, Ульне, настоящий сын. Перелюбила его Марта с молчаливого попустительства самой Ульне. Избаловала. И Ульне едва не погибла вместе с ним. А может, и погибла, потому что сейчас Ульне продолжала ощущать себя неживой. Она дышала, ибо помнила, что должна дышать. Просыпалась, ведь глаза открывались, и сон уходил. Лежала, гладила озябшими пальцами сухой лен простыней, удивляясь тому, что способна его ощущать.

— Иди. — Ульне умела говорить так, что Марта слушалась.

Слабая.

Бестолковая.

И может, действительно было бы легче ей умереть, но... Ульне не готова остаться совсем одна. Она привыкла к Марте, к вычурным ее нарядам, к ярким цветам, пожалуй, единственным ярким цветам, с которыми мирился древний Шеффолк-холл, к голосу ее, к нелепой манере воровать печенье. И к вязаным шарфам непомерной ширины.

Их Марта дарила на каждое Рождество.

Она, не смея перечить, поднялась и принялась торопливо запихивать клубки шерсти в корзинку. Те выскальзывали, разворачивались, и тонкие нити переплетались, что невероятно злило Марту. И злость возвращала румянец на пухлые ее щеки.

Сказать, чтобы не ела столько?

Для нее еда — единственная радость... пускай уж... во всяком случае, доктор утверждает, что сердце Марты здорово, а значит, некоторая чрезмерность телесных форм ей не повредит.

Ульне едва не расхохоталась. Все-таки она становится нелогична, то всерьез раздумывала над тем, стоит ли позволять Марте жить, то вдруг беспокоится о здоровье.

Безумие.

Легкое безумие на кошачьих лапах... в Шеффолк-холле кошки не приживались, даже те глупые дворовые котята, которых некогда таскала Марта, прятала на кухне, подкармливала, но и они сбегали... кошки — умные животные.

А люди глупы.

Слабы. Почти все, кроме, пожалуй, Ульне и того, кто притворяется ее сыном.

— Ос-вальд, — повторила она шепотом, холодным дыханием коснувшись пальцев. Имя осталось на них, вплелось в нить старого кружева... попросить о новых перчатках?

И платье понадобится, пусть сошьют такое же, Ульне неуютно в других, слишком уж привыкла она к фижмам. Подобрал шлейф — запылится, потемнел от грязи, — Ульне неторопливо направилась к себе. Предстоящий разговор мало волновал ее, пожалуй, напротив, она испытывала непривычный душевный подъем.

Дверь в ее комнату была заперта, а ключ Ульне носила с собой. Массивный, отлитый из бронзы, с длинной цевкой и украшением в виде розы, он оттягивал цепочку, порой врезался в кожу, оставляя красные следы. Марта уверяла, что нет нужды ключ прятать, что никто в доме не войдет в покои Ульне, но... так надежней. Замок щелкнул. И двери с протяжным скрипом — петли постарели, того и гляди рассыплются — распахнулись. Ульне закрыла глаза, как делала всегда.

Глубокий вдох.

И запах тлена. Сырости.

Древности.

Шаг и шелест юбок. Шлейф падает, скользит, заставляя распрямить спину и поднять подбородок.

Полутьма и тени в ней.

Кровать. И балдахин, малейшее прикосновение к которому поднимает пыль. Перину следовало бы проветрить, но Ульне была отвратительна сама мысль о том, что комната изменится, пусть бы и ненадолго, что чьи-то руки, кроме Мартиных — все же и от нее есть польза — прикоснутся к этой постели, потревожат зыбкий покой мертвых роз. Сухие стебли хрустят под ногами, и прахом рассыпаются лепестки, уже не белые, пожелтевшие, как желтеет древний пергамент. Столь же хрупкие...

— Мама? — Освальд остановился на пороге.

Правильный мальчик.

Понятливый.

...Тедди сделал хороший подарок.

— Войди, дорогой. — Ульне присела перед зеркалом... пыль... и проталины в ней... прикасалась, смотрела на себя, бесстыдно подсчитывая годы по морщинам.

Освальд вошел и дверь прикрыл.

Осматривается.

Ему доводилось бывать здесь дважды или трижды? Она приглашала, скрепляя этими визитами перемирие, негласный договор.

— Ты хорошо себя чувствуешь... мама?

— Да, дорогой.

Не поверил, взял за руку, и два пальца легли на запястье. Освальд нахмурился, слушая стук ее ослабевшего сердца.

— Мама...

— Тебе не следует...

— Следует. — Он впервые позволил перебить ее и, опустившись на пол, на истлевшие стебли, искрошенные листья, на ковер, который скрывался под грязным снегом сухих лепестков, заговорил. — Леди Ульне...

— Мама.

— Леди Ульне, — тот, кто притворялся ее сыном, смотрел снизу вверх, и черты лица его смягчились, — вы и вправду мама... А я не смел надеяться, что вы будете ко мне хоть сколько добры.

Эта доброта ничего не стоила. Да и не добротой она была вовсе, скорее тяжестью одиночества, тоской, которая выедала остатки души, требуя заполнить их хоть чем-то.

Освальд ушел.

...ее никчемный беспокойный сын, который все никак не желал понять, что будущее предопределено прошлым. Его будущее.

Его долг.

Его право.

Он был готов променять и то, и другое на горсть золота, чтобы бездумно эту горсть швырнуть на зелень игрового стола.

А этот... этот был рядом. Притворялся родным, играл, вовлекая Ульне. Вот только игра перестала быть игрой. И она, дотянувшись до бледного шрама, уродовавшего лицо Освальда, скользнула по нему пальцами, коснулась губ...

— Ты хороший мальчик, — голос ее смягчился. — И я... рада, что мы встретились.

— Марта...

— Не повредит тебе. И мне тоже. Она глупа и безобидна. Но идем, я хочу показать тебе кое-что.

Она поднялась, опираясь на его руку, с удовольствием отметив, что рука эта крепка.

Он научился одеваться, и оказалось, что Освальд — ее Освальд, поскольку другого давным-давно следовало бы забыть, — обладает утонченным вкусом. Ему к лицу темный костюм, пожалуй, излишне строгий, но его роль требует подобной маски. Черная шерсть пиджака. Шелк жилета. И светлое сукно рубашки, не белое, но цвета слоновой кости. Аккуратный крой, в чистоте линий которого видится работа хорошего портного.

— Ты чудесно выглядишь, дорогой. — Ульне вновь протянула пальцы к шраму. — Как-нибудь расскажешь, где и когда получил его. Об этом буду спрашивать не только я. Но мне ты расскажешь правду.

Она подвела его к шкафу, огромному, занимавшему всю дальнюю стену. И на запертых дверцах проступали пятна солнечного света. Тускло поблескивали латунные ручки.

Шкаф был заперт.

И ключ, тот, который Марта предлагала повесить в холле, идеально подошел к замку. Два оборота. И надавить. Дверцы заросли грязью и поддались не сразу, а быть может, сама Ульне ослабела? Освальд помог, распахнул, едва ли не сорвав с петель.

— Стой, — велела Ульне, и он подчинился.

Шкаф был пуст. Почти. Два сменных платья, которые Ульне сдвинула в сторону и, надавив обеими руками на заднюю стенку, заставила ее покачнуться.

За стенкой скрывался проход.

— Дорогой, — Ульне обернулась, — будь добр, захвати свечи. Можешь взять мой канделябр...

...из пары, подаренной к свадьбе. На них так и остались банты из прозрачной органзы, правда, потерявшей свой исконный цвет. Какими же они были? Синими, кажется... или розовыми? Розовый — это невыносимо пошло...

Здесь ничего не изменилось.

Лестница. Грубые ступени, выбитые в скале. Неровные, но изученные Ульне. Прежде она частенько спускалась, чтобы поговорить с мужем, даже когда он перестал отвечать. Оказывается, она еще помнит. И то, как скользят всполохи света по стенам и кренился, расплывается длинная тень, и то, как гулко разносится, бьет по нервам звук собственных

шагов.

Ниже.

И еще.

Остановиться, переводя дух. Голова вдруг идет кругом, и сердце болезненно сжимается. Освальду достаточно толчка, и... ничего, он подходит, берет под руку и осторожно интересуется:

— Вам дурно?

— Ничуть. — Ульне получается улыбнуться, ей почти весело, и все равно горько. Память норовит вырваться, а ведь, казалось, приручила, посадила на цепь, кинула в зубы обглоданную совесть.

Простила себя и его тоже, бездумного своего супруга.

Кого он вздумал обмануть?

— Идем, дорогой. — Его рука — надежная опора. А шлейф платья замечает следы на пыли. Паутины вновь наберет. Ульне всегда интересовало, откуда берутся в подzemелье пауки, если здесь нет мух? Чем они питаются? — Уже недолго...

Ее всегда изнурял не столько спуск, сколько подъем, особенно когда благоверный еще был жив. Проклятья летели в спину, поторапливали, и Ульне почти бежала... а ведь не сбылось. Сколько раз он желал ей шею свернуть?

Жива.

И будет жить.

И быть может, увидит, как исполняется последнее предсказание.

— Здесь. — Она позволила Освальду войти первым.

Камера, и за проржавевшей решеткой — двое. Одежда истлела, иссохли тела. Бурая пергаментная кожа, пустые глазницы, космы волос, зубы торчат... у ее дорогого Тода были хорошие зубы, чего не скажешь о той потаскушке, что спряталась в углу.

— Я так понимаю, — Освальд подошел к решетке, склонился, разглядывая тела, — это...

— Твой отец. — Ульне перекрестилась. — И его жена.

Узкий стол. И стул, повернутый сиденьем к стене, почти сросшийся с этой стеной. Старый подсвечник с огарком свечи. Странно, что его не тронули крысы. Ульне коснулась и тотчас отдернула руку — воск сделался мягким, желтоватым.

...почти как кожа Тода.

— Значит, он не сбежал? — Присев на корточки, Освальд поставил канделябр вплотную к решетке. Мертвец сидел, прислонившись к прутьям, обхватив их иссохшими пальцами. И сквозь разрывы кожи виднелась кость. — И если его жена здесь, то...

Ульне подошла к решетке.

— То наш с ним брак недействителен. А ты, милый Освальд, являешься бастардом. Он был красив, мой Тод. А я... двадцать четыре года, старая дева, которая редко выглядывала за порог Шеффолк-холла. Он сам написал письмо.

И конверт сохранился. От него уже пахнет ладаном, тяжелый церковный аромат, который прочно увязывается в воображении Ульне со смертью. И она редко открывает этот конверт, порой берет в руки, но и только. Печать потрескалась, осыпалась, буквы выщвели.

— Назвался моим кузеном, дальняя родня... отец говорил, что родни у нас много, но почти все позабыли о родстве. И мы встретились. Господи, он был красив, если не сказать — прекрасен. И я влюбилась с первого взгляда. Любовь — опасная игрушка, мальчик мой.

Любовь заставила принять в Шеффолк-холле и Тода, и бледненькую его сестрицу, которая редко подавала голос, да и вовсе старалась держаться в тени.

— Он сделал мне предложение, и я решила, что нет женщины счастливей...

— Когда вы узнали правду, мама?

— Наутро после свадьбы...

...первая брачная ночь, символическая, ведь и до нее случались ночи. К чему терять время? Ульне так спешила любить и быть любимой. И вот она проснулась в темноте и одиночестве, испугалась, что Тод лишь пригрезился. Встала. Отправилась искать... нашла... ее Тод стоял на коленях перед той, кого называл сестрой, и просил прощения. Она же рыдала, и узкие плечи сотрясались.

Следовало бы уйти, но что-то задержало Ульне.

— Он говорил, что осталось уже недолго, что скоро я умру, а он станет наследником Шеффолк-холла. Он собирался его продать, представляешь? И мои драгоценности тоже. А вырученные деньги позволили бы им исчезнуть. Уехать за Перевал.

— И ты...

— Утром я сказала, что хочу доверить мужу семейную тайну. — Ульне помнила холодную ярость, ревность, которая разъедала ее изнутри. И то, сколь очевидной стала скрываемая этими двоими тайна. Как прежде она, ослепленная любовью, не замечала робких случайных прикосновений, нежных взглядов, осколков фраз... — Они решили, что речь идет о Черном принце...

— И спустились сюда. А здесь...

— Их встретил Тедди. — Ульне погладила того, кто был ее сыном, по волосам. — Он принял мою обиду очень близко к сердцу. Ты же знаешь, как много для него значит семья.

— Знаю. — Освальд коснулся шрама на щеке.

...все-таки Тедди виновен. Зря он мальчика попортил, с другой стороны, шрамы украшают мужчин.

— Он их не убил. — Освальд гладил белую нить.

— Отдал мне. А я была в своем праве.

...Тод бранился. У него долго хватало сил, чтобы ругаться. И он прилип к решетке, брызгал слюной, грязный, вонючий, растерявший былую красоту. Грозился полицией. А потом умолял. Не за себя умолял, а этого Ульне понять не могла — ни понять, ни простить.

— И долго они...

— Три года.

...женщина ушла первой, подхватила пневмонию и сгорела. Она бы умерла и раньше, если бы не Тод, который уговаривал ее жить. Заставлял есть, а Ульне садилась и смотрела.

Испытывала ли она жалость?

Отнюдь.

Должно быть, именно тогда она стала сходить с ума... или, напротив, вернулась в разум, осознав, какая бездна лежит между ней и остальными.

— Что ж, — Освальд встал, — полагаю, они заслужили.

Ни страха.

Ни отвращения.

Тедди хорошо его выдрессировал.

— Это все, что вы хотели мне показать, матушка?

— Пока... пожалуй. Я подумала, что мы можем устроить прием... представить тебя

обществу.

...тем ошметкам былой славы, которые удалось сохранить. Что ж, Ульне будет интересно взглянуть на людей, в которых ее отец видел надежду рода человеческого. А они откликнутся на зов.

Любопытны.

И жадны.

Стервятники, готовые распростереть крылья над умирающей тушей Шеффолк-холла. Пускай... Ульне найдется чем удивить их.

Освальд слушал.

Почтительный... все-таки ей повезло с сыном.

— И думаю, что тебе пришла пора жениться, мальчик мой. — Она оперлась на его руку. — И еще, не устраивай больше встреч в лиловой гостиной... там сквозит.

— Да, матушка.

Предстоял путь вверх — сто сорок три ступени, преодолеть которые будет непросто.

Годы все-таки не пощадили ее.

Они никого не щадят, и даже Шеффолк-холл постарел, однако Ульне еще увидит его возрождение. Если ее мальчик все сделает правильно...

«Янтарная леди» пробиралась сквозь снегопад. Мерно гудел мотор, и винты разрубали разреженный горный воздух. Внизу проплывала черно-белая, углем по полотну рисованная земля.

Покачивалась палуба и клетка с канарейками, которые, нахохлившись, дремали. И немногочисленные пассажиры, которым хватило смелости совершить полет, уже названный историческим, с немалой завистью поглядывали на канареек.

Людям спать мешал страх.

И давешний репортер, прижимая к носу надушенный платок, то и дело всхлипывал. Но его хотя бы перестало мутить. Его коллега, пристроившийся у медных патрубков паровой печи, обмахивался газетой, грузная его фигура, упакованная в плотный твид, гляделась нелепо, неестественно, но человек не желал расставаться ни с пальто, ни с двубортным полосатым пиджаком. Он прел, потел, лицо его налилось нездоровой краснотой, что вызывало крайнее неудовольствие корабельного доктора. И тот время от времени приближался, что-то говорил шепотом, качал головой и отступал, оставляя человека наедине с его страхом. На втором часу полета репортер все-таки сдался и снял фетровый котелок. Короткие влажные волосы на макушке тотчас встали дыбом...

— Забавные они, — шепотом произнесла Лэрдис, прикрывая рот ладошкой.

И Брокк подавил раздражение.

Как она сюда попала?

Билеты на «Янтарную леди» в продажу не поступали. Список пассажиров был согласован еще месяц тому, и Лэрдис в их число не входила. Но первой, кого Брокк увидел, выбравшись из машинного отделения, была она.

— Как я могла пропустить подобное? — Лэрдис лукаво улыбнулась. — Ты же знаешь, как меня влечет все новое... интересное.

Палевое, узкого кроя платье, двубортный редингот из лакированной кожи и крохотная, кожаная же шляпка с высокой тульей.

Просто.

Изящно.

И алмазный аграф на шляпке лишь подчеркивает эту простоту.

Брокк сделал глубокий вдох, с трудом подавив вспышку ярости.

До чего некстати.

...вылет на рассвете и ночная проверка. Девятая кряду... или десятая уже? Которая ночь без сна, но полет должен пройти идеально, вот только в пятом отсеке давление упало.

...поиск утечки.

...экстренная перекалибровка грузов, размещенных отчего-то не по исходному плану.

...подъем и вновь давление. Встречный ветер. И неблагоприятные погодные сводки, из-за которых он едва не отменил полет. Лучше бы отменил...

От Лэрдис пахло лавандой и еще воском. Им натирали редингот, придавая ему подобающий случаю блеск. И эти запахи к концу перегона наверняка пропитают его одежду.

Проклятье.

— Дорогой, — Лэрдис сняла шляпку, и локоны рассыпались по плечам, — ты же знаешь, до чего я не люблю отступать...

— Это может быть небезопасно.

— Неужели? Ты поэтому оставил свою маленькую жену дома? — Лэрдис коснулась его губ мизинцем, и Брокк попятился. — Но что ни делается, все к лучшему, правда? Иначе получилось бы крайне неловко... ты не находишь?

А ведь Кэри хотела полететь.

Спрашивала.

И по-детски обиделась, когда Брокк запретил. Если безопасно для него, то и для Кэри тоже. Нет, она останется в Долине, если ему так хочется, но... это глупо. Разве он сам не понимает?

Понимает.

И теперь куда лучше, чем прежде.

Полдюжины репортеров, пара великосветских сплетников, с явным интересом разглядывавших Лэрдис, мрачный финансист, вложивший в проект несколько сотен тысяч фунтов и ныне желавший воочию увидеть, что вложение имеет все перспективы окупиться, дагеротиписты, оптографисты, кранц-шифровальщик, инженеры и Инголф в темной альмавиве^[1]. Занял самое дальнее кресло, ногу на ногу забросил и с видом отрешенным, мечтательным разглядывает собственные ногти.

Команда.

Троица стюардов в кипенно-белых сюртуках.

Капитан, который вышел лично поприветствовать первых пассажиров «Янтарной леди»...

...Лэрдис, положившая руку на локоть Брокка. О да, об этом полете напишут. И лучше не думать о том, что именно.

— Добрый день, господа, — капитан снял фуражку и пригладил короткие рыжеватые волосы, — премного рад приветствовать вас...

Отрепетированная речь, нарочито бодрый голос. Притворное внимание, за которым люди прячут беспокойство. Кто-то трогает обивку сидений, кто-то косится на иллюминатор, гадая, и вправду ли так надежна конструкция. Кому-то снова становится дурно.

— Мне кажется или ты не рад меня видеть? — Лэрдис коснулась щеки. — Ты забавный, когда хмуришься.

— Прекрати...

...Кэри огорчится. Узнает. Из газет, желтые страницы — то, что нужно для осенних сплетен. Поверит? Промолчит. Притворится равнодушной.

И отступит.

— Почему?

— Лэрдис, — Брокк стряхнул ее руку и, перехватив запястье, сдавил, — у нас, кажется, однажды состоялся разговор, где ты просила оставить тебя в покое. И я исполнил твою просьбу.

Мягкая улыбка, извиняющая. Наклон головы, и пальцы на щеке, теплые, мягкие.

— Вот ты и сердишься... а говорил, что любишь. Клялся... куда же эта любовь подевалась?

Издохла в муках, в привкусе коньяка, в котором не желала тонуть, в растертых докрасна полуслепых глазах, в меловом крошеве — он пытался выплеснуть гнев на камне, и стены дрожали.

В крови и живом железе, пятна которого оставались на столешнице.

— Вы все клянетесь в вечной любви. — Лэрдис отступила, но руку не убрала, пальцы соскользнули, коснулись губ, словно умоляя молчать.

Красивый жест.

И женщина красива. Вот только ныне эта красота не вызывала у Брокка ничего, кроме раздражения.

— Но проходит месяц... или год... или два, и что? Любовь исчезла.

Она вздохнула.

— Скажи, что бы стало с нами, если бы я тогда согласилась?

— Мы бы жили долго и счастливо. В мире и согласии. — Брокк повернулся к ней спиной. — Возможно, умерли бы в один день.

— Насмехаешься?

Он не стал отвечать, да и «Янтарная леди», точно ощущая настроение создателя, мелко задрожала. Один за другим раскрылись клапаны, выпуская белые клубы пара. Протяжный гудок заставил людей замолчать. А в работу включились двигатели. Глухо заворчал первый, и спустя мгновение, заставив корпус гондолы содрогнуться, заработал спаренный основной.

— Боже, спаси и помилуй, — тихо произнес кто-то.

Винты медленно проворачивались, с каждым оборотом ускоряясь. И едва ощутимый запах керосина проник в кают-компанию. Черные же полотна иллюминаторов заволокло паром. Капли воды, остывая, превращались в наледь, и Брокк с неудовольствием подумал, что подобная наледь, вероятно, затянет и купол корабля.

На капитанском мостике царило умиротворяющее спокойствие. «Янтарная леди» медленно поднималась, пробираясь под пушистым покровом облаков. Пара мощных фонарей разрезала предрассветную черноту, и где-то внизу, между землей и небом, плавился желтый шар солнца...

Кэри понравилось бы...

...она за этот год обжилась в мастерской, присвоив себе маленький, обтянутый зеленой гобеленовой тканью диванчик. Сбросив туфли, Кэри забиралась на него с ногами, расправляла юбки домашнего платья и открывала книгу... или тетрадь... или укладывала на колени доску, а на доску — кипу эскизов, которые срочно нужно было привести в порядок.

На столике стояли перья и высокая чернильница-непроливайка, десяток губок и эбонитовая палочка, которой Кэри не столько правила чертежи, сколько чесала шею. А порой, засунув в волосы, забывала и принималась искать.

Она умела молчать.

И слушать.

Говорить, как-то остро ощущая момент, когда Брокка начинала тяготить тишина. Она приносила молоко в высоком кувшине и шоколадные пирожные, которые ела руками, а потом долго собирала крошки с платья.

Ворчала.

И порой, устав, дремала на том же диванчике. Она забиралась по лесенке к узким окнам и, опершись локтями на подоконник, слушала дождь. Дышала на стекло.

Рисовала.

Спускалась и ледяными ладонями накрывала уши Брокка, требуя немедленно согреть их. А он смотрел в ее глаза и... отступал.

Раз за разом.

Янтарная девочка, легкая, медово-дымная и беспокойная слегка. Со вкусом коньяка и

снега, безумное сочетание, от которого он мог бы потерять голову.

Мог бы... если бы хватило смелости.

А ведь почти решился... еще бы день... или два... добраться до города, доказав, что «Янтарная леди» безопасна. Вернуться. На цыпочках, крадучись войти в ее комнату и глаза закрыть, наклониться к уху и шепотом спросить:

— Угадай кто?

И не оставив время для раздумий, обнять, коснувшись губами мягких волос, на руки подхватить, закужать, чтобы без хмеля и пьяным, безумным слегка.

Не получится.

Будет обида и отстраненная вежливость, которая почти как лед. Оправдываться? Брокк не умеет. Рассказать как есть? А он не знает, как оно есть, и стоит, глядя на небо, которое всюду полыхает алым, словно там, внизу, разом раскрылись подземные жилы, плеснув на землю лавы.

Нехорошая мысль. Брокк не верит в предсказания, да и не было их, пророчеств, которые должны непременно исполниться, взяв свою плату жизнями.

Год тишины. И преддверие прилива.

Расчеты, чужие, пересмотренные сотни раз. И собственные. Сухой язык цифр, и поле вероятности, запертое в треугольнике центра. Три вершины.

Три бомбы.

Синхронизированный разнонаправленный взрыв. Резонанс. И зов умирающего пламени, на которое откликнется жила... синхронизированный.

Разнонаправленный.

Идеальный.

— Так и знал, что найду вас здесь. — Инголф вошел на мостик и огляделся. — Впечатляет.

Дерево. Бронза.

Стекло.

Красное небо, в котором догорает солнце.

— Мы могли бы... — Инголф кивком указал на пилотов, на капитана, замершего над приборной панелью.

— Конечно.

В кают-компании Лэрдис развлекала беседой репортера, которому удалось справиться с приступом воздушной болезни. И вряд ли она делилась впечатлениями о полете.

Брокк с трудом сдержал раздражение. Почему она появилась именно сейчас? Еще бы немного... ему казалось, время есть, если не целая жизнь, то еще день... неделя... месяц... год прошел, а он... идиот.

— Любопытно, — заметил Инголф, но уточнять, что именно любопытно, не стал. — А каюты могли бы быть и попросторней. Здесь развернуться негде.

Инголф прикрыл дверь и одобрительно кивнул, когда Брокк запер ее на ключ. Каюта и вправду не отличалась размерами и роскошью. Обтянутые красным сафьяном диванчики, полки для ручной клади и откидной столик, ныне закрепленный на стене.

Запахи мастики и кожи, дерева, лака, машинного масла.

— Впрочем, не так и плохо. — Инголф провел ладонью по спинке диванчика. — Присаживайтесь, мастер... к слову, как мои двигатели?

— Хороши, но... не думаю, что это эргономично. Тот запас керосина, который мы взяли

на борт...

— Утяжеляет конструкцию.

— Именно.

— Керосин обходится дешевле кристаллов.

— Кристаллы легче, и освободившийся объем багажа компенсирует разницу.

— Не скажите. — Инголф присел, поерзал и скривился, поняв, что ноги вытянуть не удастся. — Во что обойдется перезарядка? Хотя согласен, с наземными экипажами проблема решается элементарной дозаправкой, но признайте, эксперимент интересен.

— Более чем. — Брокк устроился напротив. — Вы для этого меня позвали?

— Отнюдь... хотел сказать, что получил приглашение от его величества... как и Олаф...

и Риг.

— Он оправился от смерти брата?

— А были сомнения? Бросьте, мастер, эти двое на дух друг друга не переносили. Не удивлюсь, узнав, что Риг запил не от горя, а от радости. Впрочем, это ведь детали, верно?

Брокк кивнул.

Детали, которые изрядно поблекли за год. И порой Брокк начинал думать, что те ставшие уже историей события ему примерещились, что на самом деле не было ни взрывов, ни бомб, ни писем, ни тайной лаборатории... ни Ригера с перерезанным горлом.

Бурого пятна на ковре.

Стола. Бумаг. И нервного Кейрена, который не верил в такое удачное совпадение...

Иногда.

И тогда Брокк позволял себе несколько дней почти нормальной жизни, той, в которой мир не стоит на грани... возвращали кошмары. Огненные цветы в небе и крылья дракона, которые начинали тлеть. А сам механический зверь, замерев в небе, вдруг терял опору. Он падал, изгибаясь, ревя, и в этом реве Брокку слышались проклятия. Он сам, обняв зверя за шею, летел в огонь.

Он просыпался за мгновение до смерти и, сев в постели, долго пытался отдышаться, отрешиться от собственного крика, пусть бы и утверждал камердинер, что Брокк не кричит, но ведь горло драло, и связки голосовые почти срывались. А культу дергало, мелко, мерзко. В какой-то момент, когда сны стали часты, ему показалось, что произойдет отторжение. Шрамы на коже набрякли, и сквозь них сочилась сукровица, марала простыни. А рука сделалась малоподвижной, тяжелой, как в первые дни после присадки. И Брокк пытался размять пальцы, таясь от жены, она же все равно умудрялась услышать его, подходила, садилась рядом, клала ладонь на переплетение нитей и спрашивала.

— Чувствуешь?

Чувствует. Сквозь немоту, раздражение и зуд. Сквозь вынесенную из снов чужую боль... и собственная немощь перестает мешать. Рядом с Кэри Брокк вновь ощущал себя цельным.

— Вы ничего не желаете рассказать, мастер? — Инголф растегнул пуговицы и, сняв пиджак, клетчатый, на пурпурной подкладке, пристроил его на крючок.

— Боюсь...

— Очередная тайна государственных масштабов?

— Именно.

Инголф кивнул, точно не ожидал ничего иного.

— Что ж... пусть так. — Он отвернулся к иллюминатору и некоторое время разглядывал не то небо за стеклом, не то собственное отражение. — Им удалось раскопать «Странник».

Руки Инголф сцепил на груди.

— Газеты о таком не напишут, но... я сам строил портал.

«Странник». И чума, запертая на борту проклятого корабля, который, оказывается, вовсе не миф.

— Куда?

Это тоже тайна, но Инголф отчего-то готов поделиться ею.

— В город, куда еще. — Он дернул головой. — Мне довелось побывать в Вашшадо... Знаете, мне казалось, я многое повидал за этот год. Война и лагеря альвов, запечатанный храм...

Инголф вскочил, но заставил себя сесть.

— Меня привлекали, чтобы... разобрать... разобрать... после альвов осталось многое. Кое-что требовалось уничтожить, кое-что — приглушить, демонтировать, переправить. Не самая приятная работа, но мне нравилась.

— Почему вы?

— Почему нет? Мне предложили, я согласился. Вами Король рисковать не желал, а мне требовалась идея. Сами знаете, идеи — мое слабое место. Вот и понадеялся, что у альвов найду что-то, что натолкнет на мысль.

— Не нашли?

— Увы... там меньше всего думалось об идеях. — Инголф провел ладонями по лицу, стирая несуществующий пот. — Но даже там... Вашшадо — не такой уж небольшой город. Был. Удалось раскопать площадь. И остатки ратуши... пара храмов... в храмах мертвецы... и в домах мертвецы... всюду мертвецы. Люди... остались только кости и... их выносили на площадь, раскладывали сортируя. Мужчин в один ряд. Женщин — в другой. Дети отдельно.

Замолчав, он приложил ладонь к стеклу и поморщился.

— Ходит. Слышал, вы отказались от идеи сделать корпус цельнолитым?

— Отказался. — Брокк слышал и тяжелое натужное гудение силовых линий. «Янтарная леди» медленно расправляла крылья. Сколько еще потребуется времени, чтобы корпус стал? Месяц? Другой? — Не стоит волноваться. Опорный каркас выдержит.

— А обшивка?

— И обшивка.

Инголф вряд ли испытывал страх, скорее знакомую уже ревность, которая заставляла искать недостатки в чужом творении. И Брокк, пользуясь ею, глядел на «Янтарную леди» свежим взглядом. Каюты и вправду невелики, но «Янтарная леди» не предназначена для многодневных перелетов, нынешний — скорее исключение. Три дня и две ночи в воздухе.

Перевал.

Воздушный мост, над которым придется пройти. Горные пики. Кряж и треклятый снегопад, не собиравшийся прекращаться. Брокк предлагал отложить перелет до весны, а лучше и вовсе до лета...

Пройдут.

Есть запасные баллоны со сжатым газом. И керосин в цистернах. Сдвоенный двигатель работает на четверть мощности, а Инголф утверждает, что есть запас и над верхним порогом... по сводкам передавали грозу, но «Янтарная леди» поднялась над фронтом туч.

И драконы были куда менее устойчивы.

— Хорошо... неудобно, знаете ли, думать о том, что под ногами пустота.

Под ногами Инголфа был паркет, прикрытый толстым шерстяным ковром.

— Я не скрываю, что люди мне... неприятны. Более того, опасны, но... Вашшадо. Площадь костей. Истлевшие, бурые... вы знали, что чуму пытались остановить? Вашшадо изолировали.

Корпус гондолы ощутимо вздрогнул, а рокот мотора усилился. Корабль лег на курс и приступил к разгону.

— Изоляция в то время... — Инголф вытащил из галстука булавку — белое золото и сапфир в наверху, яркий, но не настолько, чтобы цвет и форма выглядели вызывающе. — Запертые ворота. Поднятый мост и кордон из лучников. Расстреливали всех, кого видели, там находили и стрелы, и тела, уже снаружи... запоздалая попытка. А в городе здоровые убивали больных.

Он вертел булавку в руках, и синий глаз сапфира вспыхивал.

— Целые кварталы выгорели, но заразу не остановить. И люди молились, но их Бог не пришел им на помощь. И знаете, мастер, я вдруг вспомнил лагерные рвы... их ведь копали сразу за оградой, и сами заключенные. Тела стаскивали, присыпали землей, а потом новый слой... слой за слоем. Тогда мне казалось, что я стал свидетелем чужого безумия.

Протяжный гудок, нарочито-бодрый, неуместный, и булавка падает, катится под диванчик, к неудовольствию Инголфа. Он скалится, а шея покрывается знакомой рябью.

— И видя лагеря, я понимал, что мы были правы в той войне.

— Неужели?

— А вы сомневаетесь, мастер? — Инголф опустил на колени и сунул руку под диванчик, пытаясь нащупать булавку. — Вас до сих пор совесть мучит? Поверьте, если бы вы видели...

— Видел.

Об этом Брокку вспоминать не хотелось.

...лагерь Айорнэ, «Белый луч». Узкие строения за решеткой. Полоса вскопанной земли. Проржавевшие клубы колючей проволоки, которую никто не удосужился убрать. Ветер гонит шары суховея, словно клочья волос. И волосы же, сложенные в последнем бараке.

Список заключенных.

Личные вещи последней партии. Смотритель упорно говорил «партия» и «особь», пытаясь спрятаться за словами от себя же. У него получалось, и Брокк, глядя на невысокого, но кряжистого человека — чистокровного человека и гордящегося чистотой крови, — завидовал этому его умению.

— Ах да... ваша матушка... прошу прощения, если вызвал неприятные воспоминания.

...мертвые лозы горели ярко, и над костром плясали искры. Время от времени с хлопком взрывались семянки, и в воздухе разливался нежный аромат ванили. От него к горлу подкатывала тошнота. Ванилью же пропахли рвы. Их вскрыли... Брокк не знал зачем.

Перезахоронить?

Завалить землей, предотвращая эпидемию?

Структурировать, как предлагал смотритель, искренне удивлявшийся всеобщему молчанию. Ненависти. За что ненавидеть? Он лишь исполнял приказ...

Длинные канавы с земляными гребнями, влажными, потому как осень и дождь. Запах земли и гнили. Тела... и где-то среди них — мама.

Безумие.

Фляга с коньяком, которую силой вкладывают в руки. Заставляют пить, и Брокк пьет, легко, как воду, и, как от воды, не пьянеет. Кошмары его и вправду отступили...

— Если вы видели, то поймете меня. — Ингольф запустил руки в волосы, разрушая идеальную укладку. — Подобное не должно повториться. Не мы. Не от нас...

— Когда «Странник» перебросили?

Наверняка демонтировав. Наверняка порталом. Наверняка в защищенную зону, выйти из которой непросто.

— Два месяца тому. — Он провел сложенными щепотью пальцами по шее, задержавшись на кадыке. — Всего два месяца... или целых два месяца? Как знать... у Короля хорошие алхимики. А лаборатории... вы ведь сами устанавливали защиту?

Но теперь Брокк не был уверен, что ее будет достаточно.

— Король готовится. Он спешит. Я знаю, что этот... несуществующий проект увлек многих. Вы ведь в курсе, как это бывает? Видишь перед собой конкретную задачу и пытаешься решить ее, а последствия... ведь задача решена умозрительно. И вряд ли найдется кто-то, кто посмеет перейти от теории к практике.

— Намекаете на мои эксперименты? — Брокк слушал гул моторов и скрип корпуса, который был почти музыкой.

— Намекаю? По-моему, ясно указываю, — насмешка и прежнее хладнокровие. — Поверьте, мастер, новое оружие будет куда опаснее огня... хотя бы в силу своей избирательности.

— Король...

— Не применит его, пока будет возможность отступить. Вот только...

...взрывы.

Прилив. Подошедшая к поверхности жила, раздуваясь от пламени, готовая прорваться сама по себе... Город, замерший над огненной чашей. Случись прорыв, успеет ли Стальной Король выпустить чуму?

— Это война, которой нет, — очень тихо добавил Ингольф.

Молчание длилось долго, показалось, — вечность. И Брокк нарушил его первым.

— Бомбы не должны взорваться. Не во время прилива.

— Значит, вы тоже не верите, что Ригер был виновен?

— Был, — в этом у Брокка сомнений не оставалось. — Но не только он.

— Остаются двое. Смею полагать, меня вы из числа подозреваемых исключили? Впрочем, не отвечайте, но... сколько?

— Как минимум три. И нет, я вас не исключил.

— Тогда откуда такое доверие?

— Никакого доверия. — Он выдержал прямой взгляд Ингольфа. — Вы чересчур много знаете.

— Связи...

Древний род, чьи корни давно переплелись с королевскими.

— Что ж, с моей стороны было бы неосмотрительно не воспользоваться вашим знанием... или вашими связями.

— Помилуйте, мастер, — к Инголфу возвращалась прежняя невозмутимость, — вам и самому грех жаловаться. Король вам доверяет.

— Не настолько, чтобы поделиться своими планами.

— Боюсь, настолько он не доверяет никому. А вы слишком... как бы помягче выразиться, чистоплюй.

— В отличие от вас?

— В какой-то мере упрек заслужен. — Ингольф поднялся и надел пиджак. — В какой-то мере. Никто, и прежде всего Король, не хочет войны. Но если она начнется, псы не уйдут вслед за альвами. Этот мир принадлежит нам.

...мир. И небо, которое постепенно наливалось предгрозовой синевой. Раскаты грома доносились издали, заставляя немногочисленных пассажиров ежиться, озираться и отступать от иллюминаторов. Стюарды разносили обед и горячий чай, который многие сдабривали спиртным, впрочем не гнушаясь и бара кают-компаний. Вспыхивали разговоры и сами собой гасли.

— Надеюсь, — Лэрдис оказалась рядом, присела и коснулась его ладони, — ты не настолько на меня сердит, чтобы прогнать сейчас.

Она выглядела бледной и растерянной.

И когда гондола в очередной раз вздрогнула под ударом ветра, Лэрдис прикусила губу.

— Я... — голос ее стал тихим, извиняющимся. — Не знала, что здесь будет так... жутко. Она ведь выдержит?

— Выдержит.

Брокка слушала не только она, даже шифровальщик, не отступавший от оптографа последней модели — такому и гроза не станет помехой, — повернулся к Брокку. И он, чуть громче, чтобы слышали все, сказал:

— Мы поднимаемся. И пройдем над грозовым фронтом. Волноваться не о чем.

Ему не поверили. И репортер, взопревший в теплой своей одежде, потянулся за котелком.

— Знаете, господа, — пояснил он, пусть бы никто не спрашивал объяснений, — мне вот подумалось, что если мы разобьемся, то случится спасательная экспедиция...

Он вертел шляпу в руке, мял плотный фетровый борт.

— И вот найдут нас... а я без шляпы. Как-то неуместно, не находите?

Его коллега шумно выдохнул и произнес:

— Мне бы ваши заботы...

А Лэрдис, наклонившись к самому уху, сказала:

— Забавные они...

...они, люди.

Существа, не столь уж отличные от детей Камня и Железа. Многочисленные. Им тесно в городе. В мире. Ингольф прав в том, что война идет и они побеждают уже потому, что их больше... остановить? Признать правоту Короля? Кто посмеет обвинить его, спустившего с привязи чуму, принесенную чужим, но явно человеческим кораблем? Никто, если люди нанесут удар первыми.

И Брокк прижал ладони к вискам. Голова раскалывалась от боли, а Кэри, которая с этой болью всегда управлялась играючи, не было. Женщина же, сидевшая рядом, что-то говорившая, прикасавшаяся с притворной нежностью, не вызывала ничего, кроме глухого застарелого раздражения.

Неужели он и вправду любил ее?

От запаха лаванды головная боль лишь усилилась.

Кэри скомкала газету.

Расправила.

Снова скомкала, получая странное наслаждение от хруста тонкого листа бумаги. И опять расправила, разложила на столе, разгладила заломы.

Черные буквы на сероватой бумаге. От нее пахнет еще типографской краской и солеными огурцами, которые наверняка весьма жаловал разносчик.

Кэри ненавидела его и человека, написавшего эту статью... всех людей, которые ее прочтут... уже читают, втайне посмеиваясь над Кэри...

...дурочка.

Наивная дурочка, вот она кто.

Кэри погладила лист и когтем проткнула, рванула, раздирая на клочья и его, и, кажется, скатерть. И коготь увяз в дереве, заставив очнуться, но ненадолго.

Черно-белый дагеротип со скромной подписью: «Экипаж и первые пассажиры дирижабля «Янтарная леди». Они стояли полукругом. Экипаж в белом, пассажиры — в черном. А между ними, точкой соприкосновения, Лэрдис. Эта женщина умудрялась выглядеть яркой и на черно-белой картинке, которую Кэри медленно и методично раздирала в клочья.

Пассажиры...

...первые пассажиры, среди которых должна была быть Кэри.

— О да, милая, конечно, ты полетишь, но позже... этот перегон небезопасен. — Она заговорила сама с собой, осознав, что еще немного, и вспыхнет от молчания, от ненависти. — Я не хочу тобой рисковать...

Сволочь.

Лживая вежливая сволочь.

А Кэри верила ему... просила, и когда возражал, то, с возражениями соглашаясь, отступала.

Надо успокоиться. От газеты остались клочки, которые кружились в воздухе, падали на ковер, покрывая его бело-черным типографским снегом.

— Мне очень с тобой повезло... — Она бросила взгляд в зеркало и раздраженно отвернулась, чтобы не видеть себя такой, встрепанной, злой, застывшей на грани обращения.

Предатель.

Он ничего ей не обещал, но...

...не плакать, пусть и на глаза наворачиваются слезы.

Бумагу в камин и...

— Леди, — дворецкий отвлек, и голос его заставил Кэри очнуться, — вас спрашивает мисс Грай. Мне сказать, что вам нездоровится?

— Отнюдь. — Кэри вскинула голову и улыбнулась. — Со мной все хорошо... замечательно просто. Проводите Грай в южную гостиную. Я скоро приду.

Она не будет плакать.

И страдать тоже не станет. Если он выбрал Лэрдис, то... в конце концов, они ведь друзья и только? Встав перед зеркалом, Кэри медленно — руки вдруг сделались неподъемными — вытаскивала из волос шпильки. Прическа все одно растрепалась, а распущенные волосы ей

идут...

...Брокк говорил.

Надо забыть обо всем, что он говорил.

— Ах, дорогая! — Грай поднялась навстречу и, приобняв Кэри, коснулась губами щеки. — Я так рада тебя видеть!

— И я рада, — солгала Кэри.

Видеть не хотелось никого.

А хотелось взять фарфоровое блюдо, белое, с золотой каймой, с виноградной лозой на донце, и швырнуть в стену... и следом отправить второе... третье... пока стена не треснет. Или посуда не закончится. Но Кэри точно знала: в этом доме посуды хватит не на одну истерику.

— Мне так жаль! — Грай всплеснула руками. — Я прочитала и сразу поспешила к тебе!

Она за прошедший год совершенно не изменилась.

Округлое личико, яркие глаза и яркое же, пожалуй, чересчур яркое для столь раннего часа, платье. Но Грай к лицу глазет^[2] темно-вишневого колера, отделанный широким блондом^[3]. Модная шляпка с опущенными полями, больше напоминающая ведерко, завязана пышным бантом. И Грай раздраженно бант терзает, лишая шляпку красоты.

— Это ужасно! Ужасно! — Голос ее звенит, заполняя пустоту гостиной и вызывая приступ мигрени. — В кои-то веки я согласна с матушкой...

Грай все-таки удаётся справиться со шляпкой, которая летит в кресло, туда же отправляются касторовые^[4] перчатки.

— Ничего страшного не произошло. — У Кэри получается улыбаться.

Странно как. Внутри пусто, а она улыбается.

И дергает за шнур, вызывая горничную.

Просит подать чай...

Грай ерзает.

— Жила предвечная! — Она все-таки не выдерживает первой. — Как ты можешь быть настолько спокойна?

Хмурится. И тут же вспоминает о том, что от этого появляются морщины, а Грай боится морщин... и еще мышей, правда, это тайна, о которой Кэри не должна рассказывать.

— Почему бы и нет?

Пустота внутри почти не мешает. Наверное, к ней можно привыкнуть, притерпеться. А потом она зарастет, как зарастают раны.

— Матушка говорит, что Лэрдис окончательно потеряла чувство меры. — Грай касается прически, признаваясь. — Ненавижу нынешнюю моду... эти щипцы для волос. Честно говоря, у меня всякий раз возникает чувство, что стоит пошевелиться, и меня подпалят. А когда перегревают, то еще и жженым волосом воняет неимоверно...

— Не пользуйся.

Кэри вспомнила собственные эксперименты.

Пустое.

Что бы она ни делала, Брокк оставался равнодушен. Он и вправду видел лишь друга... а Кэри глупа, если рассчитывала на иное.

— Я бы не пользовалась, — со вздохом сказала Грай, ощупывая конструкцию из локонов, обильно смазанных воском. — Но матушка полагает, что я должна выглядеть модно... боится, что этот мой... передумает.

Грай снова вздохнула и понурилась.

— Тебе он совсем не нравится? — Кэри была рада сменить тему беседы. Чужие беды обсуждать проще, нежели собственные. Мелкими они кажутся, неважными.

— Да... и нет. Он веселый... и подарки шлет постоянно... вчера вот корзину роз доставили. Синих, представляешь?!

...Брокк подарил мраморную, и она до сих пор стоит в вазе.

Мертвая. Каменная. И механическое сердце, которое всего-навсего часы. Просто под рукой не оказалось иного, более соответствующего случаю подарка, и, надо полагать, теперь он жалеет, что отдал часы Кэри...

Вернуть она и не подумает.

— Не совсем чтобы синих... такие темно-пепельные... красиво, — как-то Грай это неуверенно произнесла. — А еще двуколку... одноместную, чтобы я сама править могла... и кобылу... и снова цветы...

— Тебя расстраивают подарки?

Грай оттопырила мизинец, который уперла в щеку.

— Не подарки... подарки мне нравятся... почему он такой старый?

— Полковник?

— А кто еще? Жених у меня один, и... я не хочу за него замуж выходить!

— Придется?

— Придется, — согласилась Грай, принимая чашку с чаем. — Договор еще когда заключили...

И отменить не выйдет, впрочем, кто ей позволит? Полковник Торнстен — удачная партия. И о помолвке писали в «Светской хронике». На дагеротипе Грай выглядела почти счастливой.

— Свадьба скоро... — Она не спешила пробовать чай, держала чашку на весу, разглядывая ее, точно никогда прежде не видела вещи столь изящной. — Я боюсь.

— Чего?

— Свадьбы и... — Она густо покраснела. — И того, что... ну ты понимаешь, да? Нет, Тэри, конечно, очень милый... — Грай подалась вперед. — И целоваться с ним приятно... я подумала, что если жених, то целоваться можно.

Кэри рассеянно кивнула.

Если жених, то можно... а с мужем... с ее мужем невероятно сложно жить. И был ведь поцелуй, всего один, случайный, спросонья, предназначенный вовсе не для Кэри.

Нежный. Требовательный и... чужой.

— Но я попыталась представить его голым... — Грай теперь смотрела на собственную юбку, которую то гладила, то мяла. — И не смогла... ну, то есть смогла, но мне было жутко неудобно. А если так, то на него же смотреть придется. И это как-то неприлично... но, может, если на мужа, то совсем наоборот? Как ты думаешь, прилично смотреть на голого мужа?

К счастью, ответа она не дождалась. Ей не требовались ответы, Грай хотелось выговориться, а Кэри была не против выслушать. Слушать легко, главное — кивать в нужных местах и не замечать пустоту с ее трещинами.

— Мама говорит, что нужно будет потерпеть немного... что все женщины терпят... и главное, сразу забеременеть, тогда он отстанет... заведет себе любовницу.

Грай тоненько всхлипнула и разрыдалась.

— А я не хочу, чтобы он любовницу заводил! — Она плакала и икала. Размазывала слезы по розовым щекам и протяжно всхлипывала. — Не хочу... он мой и...

— Твой. — Кэри шмыгнула носом.

Не будет она плакать.

Разве что немного, за компанию... а так не будет, и все тут.

Нет причины. Розу она уберет подальше... в стол, например... или в библиотеку отнесет, хотя нет, в библиотеку она сама частенько заглядывает, и всякий раз, встречая каменный цветок, будет вспоминать... в шкаф, в сейф, где хранятся украшения Кэри... или вовсе вернет хозяину.

Наверное, неприлично подарки возвращать.

— Я знаю, что он старый и... — Грай продолжала плакать, мелко, судорожно вздрагивая. — И наверное, скоро умрет...

— Почему умрет? — Голос Кэри дрожал.

Ей было невыносимо жаль полковника, который и вправду был немолод, и Грай — ей не пойдет траур... и себя тоже. Себя, пожалуй, жалче остальных: муж Кэри жив и жить будет, но не с ней.

За что он так?

Чем Лэрдис лучше? Она красива и... наверное, и вправду умна, как утверждала Грай... и фабрикой управляет... и поместьем... а Кэри только домом и умеет.

— Потому что старый... и работает много... а у него сердце слабое...

— С чего ты взяла?

Кэри всхлипнула.

Она ведь пыталась стать другом... и не только другом. Она читала книги, чтобы понимать, чем Брокк занимается, и переписывала начисто его наброски, а почерк у него был совершенно ужасный. И ко всему Брокк постоянно сокращал слова, а потом сам в этих сокращениях путался... он неплохо рисовал, но наспех, и Кэри приходилось переводить рисунки...

Она научилась обращаться с печатным шаром. И с невероятно капризным копиром, который норовил замереть на середине процесса, и тогда приходилось запускать все наново... и кляксы ставил. О, кляксы Кэри выводила, наловчившись срезать их с тонким слоем бумаги.

Слезы катились, и Кэри не пыталась остановить их.

Быть может, если она поплачет немного, то станет легче? Обида пройдет, и... она должна смириться. Отпустить. Она... она ведь знает, каково это, когда силой заставляют любить.

— Он сам сказал... и что в отставку уйти хочет, но пока нельзя. Он поместье купил на побережье... там абрикосы растут... и персики... и даже зимой тепло. Он не хочет, чтобы я мерзла... он такой умный, а я...

— Что ты? — Кэри вытерла слезы рукавом.

— А я ду-у-ра...

— Почему?

— Потому что ничего не зна-а-а-ю... — Голос Грай дрогнул, и она заревела с новой силой.

— Тогда и я дура... я тоже ничего не знаю... почти ничего. — В носу хлюпало, но как ни странно, становилось легче, во всяком случае желание убить кого-нибудь прошло.

Вместо этого появилось другое.

Почему бы и нет?

— Шампанское будешь? — Кэри потерла нос, который наверняка распух и покраснел.

— Буду... а нам можно?

— Нам все можно, — подумав, решила Кэри и привела весомый, как ей показалось, аргумент. — Я замужем... а ты почти... и у меня муж улетел с любовницей... а у тебя... у тебя...

— Улетит, — мрачно заметила Грай, растирая глаза. — С любовницей.

И сердито дернула за навощенный локон.

— Он меня не любит... твой любил и все равно улетел, а мой... он сволочь.

— Почему?

— Потому что не любит. Разве не понятно?

— А с чего ты взяла, что не любит?

— Если бы любил, то не стал бы любовницу заводить...

— А он...

— А я не знаю... я запуталась. Я дура и... — Она опять заскулила, а из покрасневшихся глаз градом покатались слезы.

И Кэри решительно поднялась.

Все-таки без шампанского сегодня никак не обойтись. Но шампанского в баре не нашлось, наверное, если бы Кэри приказала, его бы подали, но ей было отчего-то неудобно обращаться к прислуге с такой почти неприличной просьбой. Еще полудня нет, а она уже пить... и ведь не объяснишь, до чего на душе мерзко.

Грай подошла к бару и, оценив шеренгу из бутылок, сказала:

— Мама говорит, что красное вино улучшает цвет лица... если немного...

— Мы немного.

Красного вина тоже не было... и белого... и вообще вина.

— Виски. И коньяк.

— Коньяк. — Грай шмыгнула носом. — Его папá пьет, утверждает, что полезно для укрепления нервов.

Кэри вытащила бутылку. Ее нервы определенно нуждались в немедленном укреплении. Окинув гостиную взглядом, она вернулась к столику и поставила бутылку между высоким чайником и серебряной сахарницей.

— Чай надо вылить. — Грай перестала плакать, только всхлипывала время от времени, а подбородок ее мелко и часто вздрагивал. — Или с чаем?

— Без чая...

Чай отправился в чайник, и Кэри наполнила чашки коньяком. Грай взяла свою осторожно, словно опасаясь, что в руках чашка рассыплется.

— А ты... когда-нибудь...

— Никогда...

Запах не был неприятен, скорее необычен. И Кэри, решительно вдохнув, сделала первый глоток.

Горько! И горячо! Небо опалило, и она едва не выплюнула коньяк, но решительно заставила себя его проглотить. Едкий ком ухнул в желудок, и тот неприлично заворчал, напоминая, что от завтрака Кэри отказалась... и что обеда, кажется, тоже не предвидится.

Ничего не произошло.

Пустота не исчезла. И сердце саднило.

— Горький какой, — выдохнула Грай. — Я... не собиралась плакать.

— И я не собиралась.

Слезы высохли, но глаза жгло, словно в них песка насыпали.

— Я... мне просто страшно. — Грай качала чашку в ладонях. — Я... наверное, его люблю... а он меня нет. А если и да, то это ничего не значит... я видела, как твой муж на тебя смотрит, и... я завидовала.

Было бы чему завидовать.

Смотрел?

Смотрел. С нежностью. И с улыбкой... у него чудесная улыбка, от которой даже морщинки на лбу разглаживаются. И Кэри касалась их, прятала, а Брокк смеялся, что он и вправду староват. Ничуть не старый. Подумаешь, пара седых волосков...

...он уходил на полигон, порой пропадая там днями, чтобы вернуться, принеся с собой аромат ветивера и льда, полосатые камни и сухари, пропахшие дымом. Он подхватывал Кэри на руки, кружил и смеялся, казалось, поцелует, но... всякий раз отпуская.

Отстранялся, когда она сама подходила слишком близко.

Сбегал.

Сбежал, и кажется, насовсем.

— А он... — Грай вытащила из ридикюля смятую газету. Не «Новости», но судя по характерному желтоватому цвету страниц, «Сплетник». — Как он мог променять тебя на эту?

Коньяк дарил тепло, и Кэри вдруг поняла, что безумно замерзла, не снаружи, но изнутри. И если не выпьет вновь, то умрет от холода.

— Помнится, она тебе нравилась. — Кэри налила коньяка в чашку, и Грай протянула свою.

— Это когда у меня жениха не было, — резонно возразила она. — А теперь есть и... я как подумаю, что он тоже...

Грай часто-часто заморгала и мизинцем подхватила слезинку.

— Мама говорит, что я должна ему соответствовать... а я не знаю как...

— Я тоже...

...она училась играть на клавесине, а учитель жаловался, что руки Кэри слишком неуклюжи, их не поставили вовремя и теперь она лишь впустую тратит время. Лучше заняться рисованием. Рисовать ей нравилось. Акварель и темпера, черная строгость угля. Линии, сплетаясь с линиями, создают картину.

Берег, на который они выходили вместе. И Брокк помогал установить этюдник, отступал и, присев на землю, наблюдал за Кэри. Порой он вытаскивал записную книжку и принимался что-то черкать, вскакивал и, погруженный в собственные мысли, мерил шагами линию прибоа... иногда, летом, вытягивался на песке ли, на зеленой пропыленной траве и, надвинув шляпу на лицо, засыпал.

И Кэри рисовала его.

Спящим.

Задумчивым. Раздраженным, когда он, схватив себя за ухо, хмурится.

Сердитым и... счастливым?

Слишком мало. Клавесин и краски. Год, проведенный вдвоем... побережье, море и янтарь, который выносит на берег... городская ярмарка с ее засахаренными яблоками,

орехами в меду — их продавали завернутыми в тонкие сухие лепешки, и есть полагалось руками. Руки же становились липкими, и Брокк долго ворчал, оттирая с пальцев вересковый пьяный мед. А потом купил ей соловья в плетеной клетке. Птиц продавали мальчишки, и еще толстых жаб, которых тут же подкармливали мухами, и Кэри удивлялась — кому они нужны. А Брокк ответил, что покупают горожанки, кладут в молоко, чтобы молоко не скисало...

...соловья они отпустили...

И оставшись до ночи, смотрели, как разжигают костры... и искры вились над огнем, а жар его опалял.

— Он и вправду живой, — сказал тогда Брокк, прижимая Кэри к себе.

— Кто?

— Огонь...

Живой. И проглотит что сухую листву, что плетенные из соломы фигурки, связанные по парам, которые бросали человеческие девушки, и этот обычай был странен. Но Кэри тоже купила у разносчицы соломенную парочку, которую тайком бросила в огонь.

...не помог чужой заговор.

Желтый ком газеты Кэри расправила на коленях.

— Не читай, они там вечно вранье пишут, — обронила Грай, которая до того сидела молча, понурившись, и нюхала коньяк. — Надо было сжечь, а я... дура.

И Кэри не лучше, если совета не послушала. Но желтый лист притягивал взгляд. Буквы-буковки-букашечки... плывут перед глазами, и зацепиться не получается. Кэри читает упорно, морщась, хотя в гостиной светло. Слово за слово и еще несколько.

Насмешливые.

Она почти видит газетчика, который писал эту грязную статейку, и отчего-то невероятно важно доказать этому незнакомому ей, но неприятному человеку, что все ложь.

...Лэрдис из рода Черного Титана рассказала о своих отношениях с...

Ложь.

Ложь заедают или, на худой конец, запивают... коньяком, к примеру.

...Недавно стало известно, что в высшем свете вот-вот вспыхнет новый скандал.

Оказалось, что у Лэрдис из рода Черного Титана и мастера-оружейника все очень серьезно. Они по-настоящему влюблены и счастливы вместе...

Счастливы вместе.

Влюблены.

...Поначалу мастера обвиняли в том, что он якобы увел Лэрдис из семьи, но леди опровергла эти домыслы. По ее словам, отношения с супругом были обречены задолго до ее встречи с Брокком. «Мой муж — хороший человек, он прекрасный отец. За то время, что мы были вместе, мы многому научились. Мы любили друг друга, и наш сын родился от этой любви... Но жизнь идет, наши отношения давно стали другими. И в какой-то момент я поняла, что все изменилось: мои взгляды на жизнь, мечты, планы...

Ее мечты. И ее планы.

А планам Кэри не суждено сбыться. И она закрывает ладонью лицо Лэрдис... та выглядит такой юной. Прекрасной.

...мой уход от супруга только выглядит импульсивным и необдуманным, но на самом деле это очень взвешенный и осознанный шаг. Думаю, и моя встреча с Брокком произошла не просто так. Все к ней шло. И поначалу я пыталась сопротивляться этому чувству, подчиняясь голосу долга. Я вырвала любовь из своего сердца, приняв решение за двоих. Я

надеялась, что сумею забыть, но, увы, чувства оказались сильнее меня. И встретив Брокка вновь, я осознала, что не представляю себе жизни без него», — говорит Лэрдис.

Кэри допила коньяк и разодрала газету на мелкие клочки.

— Правильно, — сказала Грай и решительно поднесла кружку к губам. — Все-таки почему он горький такой?

— Чтобы сладким заесть можно было.

Опьянения Кэри не ощущала, только странную холодную злость.

И еще обиду.

— Мама говорит, что она себя погубила...

— Мама? — Голова стала легкой-легкой.

— Лэрдис. Отправилась в полет одна... без мужа... без компаньонки... там ведь только мужчины.

— И Брокк, — почему-то Кэри сказала это вслух.

Но Грай, кажется, не услышала.

— Ее теперь ни в одном приличном доме не примут... а хочешь, я тебе яду дам?

— Зачем?

— У меня есть. — Грай вытряхнула содержимое ридикюля на стол и подцепила темный фиал. — Вот... хороший, я сама делала...

— Яд?

— Бабушка научила... я вообще-то больше люблю духи составлять, хочешь, сделаю тебе? На розовом масле... и еще иланг-иланг. Каплю мускуса, даже полкапли... и пачули. Нет, розовое масло не пойдет, слишком сладкое...

— Яд зачем? — Кэри катала меж пальцев фиал, тонкое хрупкое стекло.

— Отравишь ее. — Грай тоже потянулась за пирожным. — Или его... лучше ее, если мужа любишь. Его тебе будет жалко травить.

Определенно в ее словах имелся резон.

Нет, не будет Кэри никого травить, но это же подарок... а от подарков отказываться неприлично.

Грай же, облизав пальцы, сказала:

— Я убегу.

— Куда?

— Не знаю... куда-нибудь убегу.

— Зачем?

— Как зачем? Чтобы он за мной погнался...

— Ты про...

— Тэри, — со вздохом произнесла Грай, отправляя в рот следующее пирожное. Коньяк странно на нее подействовал, она совершенно забыла о манерах и теперь говорила с набитым ртом. — Он за мной погонится и догонит. Спасет. А затем скомпр... пром... он обязан будет на мне жениться. Вот.

— Он и так собирается на тебе жениться.

На словах остался коньячный привкус, и сами они, как и Кэри, сделались легкими, воздушными. А фиал она в рукав спрятала. Потом придумает, что с ним делать.

— Да, — Грай мотнула головой, — но с побегом романтичней. Согласись.

Кэри подумала и согласилась, что определенно с побегом романтичней. Наверное, она все-таки опьянела, иначе почему идея Грай выглядит настолько гениальной? Почему сама

Кэри до нее не додумалась?

— Тогда я тоже сбегу, и... мы вдвоем сбежим. Вместе.

Грай задумалась и нахмурилась, отчего на лбу ее появилась вертикальная складка.

— Нет, — наконец сказала она. — Вместе нельзя. Что ты будешь делать, когда Тэри нас догонит? Сбегать надо или одной, или с любовником. У тебя есть любовник?

— Нету, — вынуждена была признать Кэри.

И снова едва не расплакалась.

Надо было завести. А лучше двух... или трех... нет, на трех у нее бы времени свободного не хватило, да и запуталась бы она, вот два любовника — совсем другое дело. Один приходит по четным дням, другой — по нечетным. Кэри озвучила мысль, и Грай немедленно признала, что та диво до чего разумна.

— Главное, — она сама потянулась к бутылке, — календарь хороший купить. А то я вечно забываю, какое сегодня число...

И это тоже была хорошая идея.

Календарь у Кэри имелся, дело осталось за малым — найти любовников. Кэри плохо представляла себе, где именно они водятся... почему-то вдруг вспомнилось заведение мадам Лекшиц, и воспоминание это вызвало приступ дурноты.

Или дурнота от коньяка?

Кэри хотела встать, но обнаружила, что пол опасно шатается.

— У меня голова кружится, — пожаловалась Грай, сжимая виски ладонями. — И бухает что-то... знаешь, но, по-моему, коньяк и вправду помогает от расстроенных нервов. Мне вот уже не хочется плакать. А тебе?

— Не знаю, — призналась Кэри, все-таки поднявшись. Она стояла, вцепившись в спинку диванчика, снедаемая желанием немедленно сделать что-то если не великое — на это, Кэри подозревала, ее сил не хватит, — то хотя бы значимое. Но слезы и вправду закончились. И даже вид желтоватых клочков бумаги, которые прицепились и к обивке диванчика, и к ковру, и к льняным юбкам Кэри, не вызывал раздражения.

Лэрдис...

— И все-таки мужчины странные. — Грай попыталась встать, но рухнула в кресло.

— Странные...

Глупые.

И жестокие...

...но в жестокости обвинять несправедливо. Брокк ведь с самого начала предупредил, что Кэри... друзьями... что ж, пусть друзьями, но... если Брокк думает, что Кэри останется в Долине... что она, подобно прочим женщинам, притворится, будто бы ее вовсе не трогают досужие сплетни... что о похождениях дорогого супруга она знать не знает...

Диванчик покачнулся, а шум в голове усилился, и мысль, очень-очень важная, почти гениальная мысль, исчезла, вызвав новый приступ дурноты.

— Наверное, мне пора, да? — Грай расплывалась, превращаясь в багряно-золотое пятно... — А то мама ругать станет... она и так ругать станет... знаешь почему?

— Нет.

Голос Грай доносился издалека. Каким-то он очень громким был, въедливым, и от этого голоса голова Кэри начинала гудеть. А может, и сама по себе...

Не следовало пить...

...но ради нервов...

— И я не знаю. — Грай протянула руку. — Она все время ругает... и без причины.

...Грай ушла.

И Кэри добралась до спальни и, кажется, сумела высвободиться из платья, которое раздражало самым своим видом. Морская тема... полоска белая, полоска синяя... от полосок в глазах рябило, и рябь вызывала головокружение. Стоило закрыть глаза, как кровать под Кэри расползалась, покачивалась, словно и не кровать вовсе, но гондола «Янтарной леди»...

...Лэрдис пришла в желтом.

...совпадение?

...всегда любила и... если так, то что станет с Кэри?

Нельзя плакать, пусть бы в комнате никого нет... раз-два-три-четыре-пять...

...Сверр говорил, что любит... и любил, пусть его любовь была извращенной, но настоящей... а Брокк не говорил... и не скажет никогда. У него Лэрдис имеется. И ему все равно, что станет с ее репутацией... и ей все равно. Всем все равно, и никому-то нет дела до Кэри... она останется одна.

Она уже привыкла одна...

...и мраморная роза в вазе из белого стекла — слабое утешение. Каменный цветок не оживет, а механическое сердце на самом деле — всего-навсего часы.

Глупая, глупая Кэри.

Она все-таки забылась тяжелым, беспокойным сном, в котором то пряталась, то искала, но и то и другое было лишено смысла. В конце концов Кэри заблудилась в лабиринте старого сада. И шут в ярком свежеевыкрашенном колпаке строил ей рожицы.

Он выплясывал на постаменте, а потом сказал голосом Сверра:

— Никто не будет любить тебя так, как любил я.

Кэри очнулась до рассвета. Болела голова. И горло тоже. И зеркало показало лицо ее, опухшее от слез, с покрасневшими глазами, с носом, который странно блестел, и пятнами лихорадочного румянца на щеках.

Хотелось пить.

И лечь в постель, забраться под одеяло с головой, притворившись, что ее нет, ни в доме, ни вообще... и лежать, жалея себя.

...выпить яд, чтобы умереть по-настоящему.

...дать свободу.

...им ведь нужна будет свобода, но чтобы умереть, придется подняться и найти фиал, если он, конечно, не примерещился.

Глупые мысли.

Кэри стянула мокрую рубашку и отерла лицо.

Жалостью она не спасется. И смерть не выход. Следует взять себя в руки. Умыться. Одеться. Расчесать волосы, которые за ночь успели сбиться колтунами. И Кэри, сидя перед зеркалом, мстительно драла их расческой. Эта боль была мимолетна и отвлекала, ненадолго, но...

Кэри выбрала простое дорожное платье из шерстяного батиста^[5].

— Леди, вы... — Горничная, до того момента благоразумно державшаяся в стороне, подала голос.

— Уезжаю. — Кэри открыла банку с пудрой, купленную скорее из любопытства, нежели по необходимости. Коснулась пуховкой щек, скрывая предательскую красноту, и чихнула. Пудра пахла ландышами, как-то едко, назойливо. — Проследите, чтобы мои вещи

упаковали...

— Но...

Странноватая получилась у Кэри улыбка, безумная, как у Сверра...

...Сверр бы понял ее.

— Упаковали, — жестче повторила она, закрывая коробку. — И переслали в город...

Как бы там ни было, но Кэри не собирается играть ту роль, которую для нее отвели.

Третий лишний?

Кэри приняла фетровую шляпку, украшенную тремя фазаньими перышками.

— Вы уезжаете?

— Конечно. — Шляпка сидела идеально. — Я уезжаю... не могу же я пропустить и этот сезон?

...кровь кипела. И живое железо откликнулось на зов.

— Леди, это не безопасно!

Вероятно, Кэри только начинала строить порталы... училась... чего ради она училась? Кристаллы растить, медленно подпитывая силой каменные друзы-инкубаторы, осторожно, боясь пережечь, исказить структуру...

...или вот разбираться в схемах энергетических контуров... зачем?

От порталов хотя бы польза есть.

Контур покачнулся, грозя завалиться, но Кэри поспешно плеснула силой, заставляя распрямиться жесткие узлы. Она слышала, как рвется пространство, и грохот в висках вызывал какое-то мучительное дикое удовольствие.

Энергия уходила быстро. И прежде, чем портал схлопнулся, Кэри поправила шляпку и решительно шагнула в окно... она очень надеялась, что окно открылось именно туда, куда ей было нужно.

В противном случае пропущенный сезон будет наименьшей из ее проблем.

Семейный ужин.

Зимняя белизна скатерти. Льдистый блеск стекла. Металл и лен. Леди Сольвейг одобрительно кивает: все идеально.

Почти все.

Место Райдо пусто, и стул, придвинутый к столу вплотную, смотрится вызывающе. Взгляд отца время от времени останавливался на нем, и тогда отец хмурился.

Постарел и изменился, он и прежде-то не отличался красотой, ныне же погрузнел, оплыл. Щеки его обвисли, и наметился второй подбородок, скрывший и без того короткую шею. И отец то и дело поводил головой, отчего-то влево, подсовывал пальцы под воротничок рубахи, словно тот становился ему тесен.

Вздыхал.

Раздраженно фыркал. И вновь смотрел на пустое кресло.

Матушка точно и не замечала ни его раздражения, ни всеобщего напряженного молчания. Она ведь специально оставила и кресло и прибор. Все еще ждет, что Райдо одумается?

В последнем письме тот спрашивал о родителях, здоровы ли, и само это письмо было живым, насмешливым. Кейрен отнес его матушке, и та, благосклонно кивнув, велела:

— Напиши, что все в порядке... у отца в последнее время сердце пошаливает, доктора утверждают, что ему следует похудеть, но разве он захочет?

Младшенький.

Послушный.

Золотой мальчик, который встречает матушку у дверей Управления, сносит ее визиты и корзинки с пирожками, неизменные букеты цветов, уборку на столе. О нет, матушка не лезет в его бумаги, она лишь приводит их в порядок. И всякий раз, когда Кейрен намеревается попросить ее не делать так больше, смотрит с нежностью и упреком, отчего Кейрен сам себе кажется чудовищем.

Разве ему сложно доставить матушке радость?

Не так уж много от него и требуют.

Помолчать.

Улыбнуться. И вести себя прилично.

...отцу, к слову, подали не бифштекс, но парового судака с вареной спаржей. Он вскинулся было, но мягкая рука леди Сольвейг коснулась его рукава.

— Дорогой, пожалуйста...

Всего-то два слова, и отец опускает взгляд. И рыбу он ест, хотя Кейрен знает — отец рыбу искренне ненавидит в любом виде, но судака расковыривает старательно, ищет несуществующие кости. Спаржей давится. Запивает, правда, вином, что вызывает матушкино неодобрение.

— Кейрен. — Отец вытирает губы салфеткой, и в жесте этом сквозит с трудом сдерживаемое раздражение. Братья смотрят с сочувствием, но вмешиваться не будут.

— Да, отец?

— Идем.

Салфетку отец бросил на тарелку, где осталась недоеденная рыба.

— А десерт?

— Мне не дадут, а ты обойдешься...

— Без сладкого оставишь?

Раньше у Кейрена не получалось долго выдерживать взгляд. Все-таки Гаррад из рода Мягкого Олова был сильным бойцом. Постарел?

И вправду постарел. Седины в волосы набралось, и пахнет от него... нет, не болезнью — усталостью, которой отец не скрывает. От нее и мешки под глазами, и сами глаза красны, воспалены.

— Выдрать бы тебя. — Он уже не злится, да и... никогда ведь всерьез не злился.

С Райдо тоже помирится.

Наверное.

— Выдери. — Кейрен покаянно опустил голову, и отец лишь рукой махнул, ответив:

— Поздно уже.

В его кабинете царил идеальный порядок. Кейрен с таким сосуществовать не мог, а вот отец, наверное, привык. Фыркнул, сунул пальцы под воротник и проворчал:

— Опять она... за свое. Ведь говорил же не лезть! А твоя матушка... — Он сдвинул вазу, и потревоженные еловые ветви опасно закачались. — И ты не лучше. Садись.

Сам он придирчиво осмотрел кресло, провел пальцами по столешнице. Нахмурился и передвинул чернильницу из левого угла в правый, раскрыл папку...

Кейрен ждал. Он прекрасно понимал, о чем именно пойдет беседа, но не торопился каяться.

— Рассказывай. — Отец расстегнул пуговицы и стащил сюртук, оставшись в полосатом шелковом жилете, с виду несколько тесноватом. В подмышках жилет жал, а на животе полосы изгибались, отчего сам живот гляделся несоразмерно большим.

— Нечего рассказывать.

— Не дури.

— Я не дую. — Кейрен положил руки на подлокотники кресла. От кожи неуловимо пахло кисловатым пивом. — Я не понимаю, какое кому дело до моей личной жизни.

— Личная жизнь, значит... — Отец приподнял массивное пресс-папье. — Если бы ты свою... личную жизнь так не выпячивал, никто бы тебе и слова не сказал.

Нефрит и серебро. Острые стальные перья на бархатной подставке, отец перебирает их, меняя местами. В этом Кейрену видится протест против того чересчур идеального порядка, который установился в кабинете.

— Молчишь?

— Молчу.

— Бестолочь. — Гаррад из рода Мягкого Олова произнес это почти ласково. — Женить тебя пора.

— Я бы воздержался...

Гаррад пробежался пальцами по корешкам папок, выбрав нужную, вытащил, раскрыл и, повернув, подвинул к Кейрену.

— Сурьмяные предлагают союз.

Стандартный договор о намерениях. Вязь витиеватых формулировок, которые сводятся к одному.

— Нет. — Кейрен закрыл папку, не дочитав.

— Да.

— Отец, я...

— Ты подпишешь этот клятый договор. И завтра отправишься знакомиться с невестой. Возьмешь в зубы веник, нацепишь костюм и улыбку и постарайся вести себя так, чтобы девушка не разочаровалась.

Гаррад из рода Мягкого Олова не повышал голоса. В глаза смотрел, и сейчас выдержать этот взгляд было не в пример сложнее.

— Нет. Хватит! — Кейрен отодвинул папку. — Я уже взрослый. И способен сам принять решение...

— Неужели?

Если бы он кричал, было бы легче. К крику Кейрен давно уже притерпелся.

— Взрослый, значит? — тихо поинтересовался отец. — А ведешь себя как озабоченный мальчишка! Взрослые люди головой думают, а не тем, что ниже пояса.

Он встал, одернул жилет, повернулся спиной.

— Думаешь, матери приятно выслушивать рассказы о твоих похождениях? Над нею смеются. Пока смеются, а скоро начнут презирать.

— Мне жаль.

— Кейрен, — отец все же повернулся, — я тебя понимаю. Все мужчины время от времени увлекаются... заводят любовниц.

— Все?

Гаррад крякнул и поправился:

— Почти все. Это естественная сторона натуры. Но это не значит, что ты должен выставлять эту сторону на всеобщее обозрение.

— Прятаться, значит?

— Проявлять благоразумие. — Он подошел к окну и, нарушив идеальные складки, раздвинул портьеры, оперся на подоконник. — И думать о будущем.

— Чьем?

— Своим, Кейрен. И рода.

Молчание. И запах коньяка, который, если ничего не изменилось, отец хранит в тайнике на книжной полке, в старой энциклопедии. А матушка, зная о тайнике, следит, чтобы слуги к нему не приближались, и делает вид, что представления не имеет, почему Гаррад время от времени запирает дверь в кабинет. И, пожалуй, отец в самом деле не заводил любовниц. Они с мамой подходят друг другу. Счастливы? Наверное...

— Этот союз нужен роду?

Гаррад не спешит отвечать. Он тяжело оперся на подоконник, уткнулся массивным лбом в заиндевевшее стекло.

...нужен.

— Мы стоваривались еще до войны.

— Райдо?

Кивок.

Чужая невеста... хотя о помолвке не объявляли. И сейчас Райдо бы мог... отец в жизни брак с альвой не признает, и формально...

...трусость.

Райдо жив. И пусть живет в своей яблонево долине, о которой пишет с такой нежностью, что становится ясно — и вправду любит что место, что женщину.

Пусть будет счастлив.

Он заслужил свое счастье, а Кейрен... младшенький. Балованный. Живущий за счет рода. И никто никогда в этом не упрекнет. Даже если он этот договор в камин швырнет и наотрез откажется от брака. Отец поорет, вмещается матушка... снова прятаться за юбками леди Сольвейг?

Проклятье, до чего сложно быть взрослым.

— Сурьма согласилась на рокировку, но... твое поведение грозит сорвать переговоры...

...переговоры уже закончились. А Кейрен и знать не знал... вот, значит, какие дела решала матушка.

— Я сделаю, как ты хочешь. — Кейрен подвинул папку к себе. Раскрыл.

Он заставил себя читать, продираясь сквозь узоры фраз. Не так уж сложно, стандартная форма, вот только дышать отчего-то тяжело.

Успокоиться надо.

Знал же, что рано или поздно... так какая разница?

Никакой.

Таннис... он объяснит, попытается... найдет слова.

— Кейрен, — отец по-прежнему стоял у окна, шурился, пытаясь разглядеть сад сквозь рябь дождя, — никто твою... девицу не забирает. Просто веди себя не так... вызывающе. Понимаешь?

Понимает.

Осторожность. Редкие встречи, после которых придется отмываться, чтобы не оскорбить молодую жену чужим запахом. Вежливое сосуществование с чужой женщиной... и никаких прогулок в парке.

...катка и коньков, на которых Таннис стояла, смешно растопырив руки. И при каждом шаге вздрагивала, накренилась, цеплялась за него, но все равно упрямо шагала... ехала... и, упав на лед, рассмеялась. Он помнит ее, сидящую в ворохе юбок — винного оттенка бархат, рюши и кружева; темные ботинки и шляпка, съехавшая со слишком коротких волос на нос. Смех и робкие веснушки на шее.

Не будет пикников на клетчатом пледе, когда шелковый экран сдвинут к стене, а живой огонь греет руки. Исчезнут вечера, разделенные на двоих, когда Кейрен говорит, ему легко говорить для нее, ведь Таннис слушает и ей действительно интересны его рассказы. Ее руки лежат на его плечах или касаются волос, непостижимым образом снимая груз забот и раздражение. Рядом с ней... спокойно.

Кейрен чувствует себя настоящим.

Он действительно возвращается домой, но... как скоро дом этот станет чужим? Останутся визиты на час или полтора, порой у него получится задержаться дольше, но времени все равно будет не хватать. Трещина, расползающаяся между ними. Смятая постель.

Его подарки откупом за ее боль.

А ведь будет больно, и Кейрен ничего не сможет сделать, чтобы стало немного легче.

Как долго это продлится?

Месяц? Год? Пока она не найдет кого-то, кто даст ей больше Кейрена. И сама мысль об этом показалась настолько дикой, невозможной, что он зарычал.

Щенок бестолковый.

Ничего не изменить. Не исправить.

— Кейрен? — Отец достал бутылку из тайника и, проведя по страницам пальцем, хмыкнул. Кажется, матушка вновь несколько перестаралась с уборкой. — Выпьешь?

— Да нет, спасибо. Все хорошо.

Ложь.

Плохо. Никогда еще не было настолько плохо. В груди саднит, и тянет сунуть руку под пиджак, под рубашку, убедиться, что дыра под сердцем просто-напросто привиделась.

Притерпится. Как-нибудь... может, повезет, и боль утихнет. В конце концов, пора взрослеть, а роман... у него и прежде случались романы. Этот ничем не отличается от прочих.

Надо лишь убедить себя.

— Я пойду? — Кейрен встал.

— Иди. Скажи матушке, что я немного занят...

Из-под серебряной горы-чернильницы появилась серебряная же стопка.

— Конечно, — получилось улыбнуться. Но отец все равно смотрел как-то странно. — Все хорошо. Я не наделаю глупостей...

...тянет. Взять Таннис и плюнуть на все: на работу, на отца с его планами, матушку и собственную невесту, которая ждет его завтра. Убраться за Перевал. Райдо не откажет, поймет, он ведь сам... и работа какая-никакая сыщется.

Дом.

Нельзя. Есть долг. И обязательства перед короной, городом и собственным родом. А боль... со временем уйдет. Надо просто жить.

Он жил этим вечером и следующим утром.

По инерции, улыбался чужой улыбкой, шутил, кажется, про себя подбирая подходящие слова, а они не подбирались, оседали на языке горечью несказанных фраз.

— Она очень милая девочка. — Леди Сольвейг выглядела совершенно счастливой.

Что ж, хоть кто-то...

— Да, матушка.

— Уверена, что вы найдете общий язык...

В ее руках пяльцы и игла, которая порхает, пробивая шелк, тянет за собой цветной хвост нити. Стежок к стежку, вырисовывается новое полотно. У матушки получаются вышивки удивительной красоты. А Таннис это занятие злит. Она учится.

Забирается в кресло с ногами, расправляет ткань, которую вроде бы очень аккуратно натягивает на основу, но ткань все равно морщит. Нитки путаются, а стежки получаются неровными. И Таннис снова и снова разбирает наметившуюся было вышивку, ругаясь вполголоса.

— Вот увидишь, я сумею. — Она перехватывает нитку зубами, позабыв, что в шкатулке есть ножнички...

Выдохнуть.

И подать леди Сольвейг бокал с ежевичным морсом, ответив:

— Конечно, матушка.

Помолвка — это еще не свадьба, договор подписан, но... останется несколько месяцев. А дальше — как-нибудь...

...его невеста, Люта из рода Зеленой Сурьмы, приняла букет — матушка лично его составила — с церемонным поклоном.

Она была красива.

Наверное.

Идеальна. Правильный овал лица, правильные черты его и правильное же платье, в меру

подчеркивающее достоинства утомительно правильной фигуры. Кейрен готов был поклясться, что талия Люты ужата до требуемых шестнадцати дюймов, а прическа всецело соответствует требованиям моды.

Завитки. И снова завитки... как лепнина на потолке, которой Кейрен любовался всю ночь.

И улыбка эта вежливая.

Равнодушный, холодный даже взгляд. Рука, лежащая в его руке, тонкая, хрупкая... чужая.

— Я вас не люблю, — сказала Люта из рода Зеленой Сурьмы, когда им позволили выйти в сад.

— Я вас тоже.

Душно. Влажно. И сумрачно. Снаружи идет дождь, и стекла оранжереи затянуло рябью. Кейрен задыхается в тяжелом запахе роз, а его невеста, присев на лавочку — она оглянулась, убеждаясь, что видна сквозь стеклянную дверь, — произнесла:

— Я надеялась, что вы откажетесь на мне жениться. — Она мило улыбнулась и расправила веер.

— Я бы хотел.

Молчание. И преглупейшее ощущение. За ними следят, исподволь, сквозь стеклянную дверь, ведь детей нельзя оставлять без присмотра, конечно, в доме все свои и договор подписан, но... правила надо соблюдать. Кто вообще придумал эти безумные правила?

— И что нам делать? — Люта обмахивалась веером, старательно улыбаясь.

— Привыкать друг к другу.

Привыкать к ней Кейрену совершенно не хотелось. Она была чужой.

— И учиться не мешать жить, — добавил он, опираясь на спинку скамьи.

— Конечно... что же еще... — Она развернула веер и уставилась на рисунок. Цветы и птицы... треклятые цветы, от аромата которых уже першило в горле, и рисованные птицы. — Мужчинам это проще сделать. По-моему, это несправедливо.

— Что именно?

Зеленые глаза сузились.

— Все.

Несправедливо, с этим Кейрен готов был согласиться. У него есть Таннис, квартира на улице Булочников и работа, которую он любит.

— Хочешь конфету? — Люта, бросив быстрый взгляд на стеклянную дверь, наклонилась, задрала юбки и вытащила жестянку, в которой перекатывались шурупы и леденцы. — Лимонные.

— Я ванильные больше люблю, — признался Кейрен, но конфету взял.

Должно же быть в ситуации хоть что-то хорошее, пусть и конфета с отчетливым привкусом масла.

— Давай договоримся, — предложила Люта, сунув за щеку слипшийся ком из карамелек. — Я не буду возражать против твоей любовницы, а ты — против моей мастерской.

— А ты и про любовницу знаешь?

— Я же не глухая, как считает моя матушка. Про твою любовницу весь город знает, так она сказала. Они с отцом ругались... матушка считает, что ты недостаточно серьезен. А он говорит, что это не имеет значения, что важен союз...

Карамелька была кислой и, расслоившись, царапала язык.

— Я одного понять не могу. — Люта дернула себя за локон. — Если им так нужен союз, пусть бы и договорились друг с другом. Мы-то тут при чем?

Этого Кейрен не знал. Его будущая жена была ему симпатична, пожалуй, у них и вправду могло бы получиться что-то, если бы...

— Так что, — она сидела и раздраженно разгрызала карамельки, не отпуская несчастный локон, — ты согласен?

— Согласен.

...наверное, Райдо обозвал бы его идиотом. И был бы прав.

— Я же говорила, — сказала леди Сольвейг, сдвигая шторку экипажа, — что девочка очень мила. Конечно, она несколько своевольна, и это совершенно неподобающее даме увлечение техникой, но я думаю, что вы поладите.

— Несомненно.

Разговаривать не хотелось, но если замолчать, матушка не отстанет. Напротив, она начнет волноваться и в волнении задавать вопросы, отвечать на которые у Кейрена совершенно точно не хватит выдержки и сил.

— Полагаю, после свадьбы девочка поймет, что призвание настоящей женщины в том, чтобы хранить дом...

...это вряд ли.

Люта и вправду любит свое дело. И еще карамельки, которые пахнут машинным маслом. Она выписывает «Прогрессор» и утверждает, что вскоре мир непостижимым образом изменится. А еще женщины имеют равные с мужчинами права. Правда, признается, что этих идей родители не одобряют, поэтому и решили поторопить свадьбу, а то мало ли... она вздыхала и снова наклонялась, задирала юбки, уже не заботясь о том, что о ней Кейрен подумает, вытаскивала свою коробку с леденцами и железками и вновь говорила.

О керосиновом двигателе, который, конечно, не такой мощный, как преобразователь энергии кристаллов, но куда более экономичный, особенно если использовать его на малых объектах. О самодвижущейся повозке, которая прошла успешные испытания... о дирижабле, совершившем первый успешный полет... о собственных планах, правда, здесь пришлось дать слово, что о планах этих Кейрен не расскажет никому. Где это видано, чтобы женщина занималась такими глупостями, как прикладная механика? А ей нравится! Она, между прочим, отправляла в «Вестник науки» статью, посвященную эффекту наложения разнонаправленных полей, и получила положительную рецензию! Ее теоретические выкладки представляют несомненный научный интерес! Так ей ответили. А еще, что ее вариант решения теоремы Грехема для частного случая полей слабой напряженности много более эргономичен, изящен и прост, чем общепринятый. Статья выйдет в следующем номере, правда под именем брата Люты... но вы же понимаете, что женскую и рассматривать не стали бы.

Кейрен понимал, хотя слабо представлял себе, о чем говорила невеста.

Да, пожалуй, встретить он Люту раньше, увлекся бы, она была живой и непосредственной. Почти как Таннис.

— Вы же не станете мешать мне? — Она нахмурилась, обнаружив, что карамелек в жестянке не осталось, лишь болты да гайки.

— Не стану.

Что еще ему оставалось сказать? И Кейрен замолчал. Она молчала тоже. Но это общее

их молчание длилось недолго. Вздохнув, Люта призналась:

— Вы мне, кажется, нравитесь, но... понимаете, я все-таки вас не люблю и вряд ли полюблю.

— Понимаю, — ответил Кейрен. — В этом мы с вами похожи...

...и естественно, я буду рада оказать посильную помощь... — голос леди Сольвейг звучал раздражающе ровно, и Кейрен, стиснув зубы, отвернулся.

Нет уж, хватит. Свой долг перед родом он исполнит, но и только.

— Сольвейг! — Отец верно понял молчание и, взяв матушку за руку, погладил пальцы. А она, замолчав, обернулась, посмотрела на отца с такой нежностью, что к горлу ком подкатил. — Я думаю, они сами разберутся, как им жить.

Нахмурилась, но... леди не пристало выказывать недовольство.

— Конечно, дорогой.

Она молчала до самого дома, а там поднялась к себе, сославшись на головную боль.

— Обижается. — Отец хмыкнул, проводив матушку взглядом. — Сколько лет прошло, а она не изменилась...

Он говорил это с мягкой улыбкой, и Кейрену было неудобно, словно он ненароком подсмотрел что-то донельзя личное.

— И не бойся, к вам она не полезет. Летом я отойду от дел.

Неожиданная новость.

— Возраст уже не тот. — Отец потер шею и, сунув пальцы в широкий узел галстука, развязал его. — Пора на покой... домик присмотрел на Побережье. Матушке твоей, думаю, понравится. Городок небольшой, чистенький... самое оно для лета. А зимовать и тут можно, раз уж ее комитеты без нее никак не проживут.

Развязанный галстук он бросил на спинку кресла и пиджак отправил туда же.

— Кто вместо тебя?

Странно. Ведь знал же Кейрен, что это когда-нибудь случится, но все равно отец казался вечным.

— Арнлог. Силы у него хватит, чтобы всех удержать... а по первому времени и союзники помогут. Лиулфр, если получится, за Перевал пойдет. Там будут новые жилы вести и... если нас поддержат, он получит свой дом.

Кейрен кивнул. Что ж, многое становилось ясно.

Поддержка нужна.

И Сурьма наверняка рассчитывает на ответную любезность. Коалиция, скрепленная браком. За Лиулфром встанет Ртуть... впрочем, не факт. Их райгрэ не самый надежный союзник.

Проклятье.

— Кейрен...

— Я все понимаю. — Только легче от этого не становится. — Не волнуйся, я не натворю глупостей.

Есть долг. И есть обязательства.

— Но... возможно, маме лучше будет уехать. На время. И не только ей... прилив...

Гаррад оборвал взмахом руки.

— Я читал твой доклад.

Но не поверил. Кейрен усмехнулся, кажется, ему никто, кроме Таннис, не верит.

— Кейрен, — отец тщательно подбирал слова, — ты... несколько преувеличиваешь

проблему. Подумай сам, насколько безумным нужно быть, чтобы утопить город в огне?

Кейрену тоже хотелось бы знать.

— Да, я допускаю... и Тормир допускает, что взрывы повторятся, но... все остальное — слишком уж фантастично.

— А если...

— Ты умный мальчик, Кейрен. И понимаешь, что одних твоих... предположений недостаточно, чтобы начать эвакуацию.

Отец поднял пиджак и галстук подобрал.

— Спокойной ночи.

Ночь и вправду выдалась спокойной. Очень тихой. Очень пустой.

Тоскливой.

...и о деле, которого не было, но оно, несуществующее, мешало жить, не думалось.

— ...для начала следует разделить волосы на двенадцать частей. — Миссис Лоуренс поправила круглые очки. — Равных частей.

Таннис смотрела на привязанную к доске косу. Волосы были длинными и пышными, миссис Лоуренс гордилась тем, что для своих курсов приобретает все самое лучшее. Но боже, до чего же противно было прикасаться к этим чужим, протравленным смесью ртути и сурьмы волосам.

— Расплетаем, Таннис. — Указка щелкнула по парте.

Злится. Всегда злится и тщательно скрывает злость, но выдают опущенные уголки губ и серые глаза, которые нет-нет да показываются из-за очков.

Миссис Лоуренс — вдова, и пусть минул период строгого траура, она все равно тяготеет к черному цвету, крепу и украшениям из волос дорогого супруга. И украшения эти миссис Лоуренс охотно демонстрирует, подчеркивая, что каждой леди под силу сделать нечто подобное... правда, при этом взгляд ее останавливается на Таннис, отчего та сразу осознает, что леди не является и об украшениях из волос ей думать не следует.

И к лучшему, вряд ли бы Кейрен с пониманием отнесся, остриги она его ради перстенька, а на ожерелье и того больше ушло бы... тут Таннис задумалась, сколь же был космат покойный мистер Лоуренс, если вдове его хватило волос комплекта на три.

— Таннис, вы вновь позволяете себе отвлекаться. — Указка вновь щелкнула в опасной близости от пальцев, а на постном лице миссис Лоуренс появилась премерзкая улыбка. — Я понимаю, что вам приходится сложнее, чем остальным дамам...

Дамы захихикали, и Таннис прикусила губу, пытаясь подавить раздражение.

— Но уверена, если вы сосредоточитесь и возьмете себя в руки... — Миссис Лоуренс говорила медленно, пережевывая слова. — У вас все получится. Не сразу, конечно, потребуются долгие тренировки...

Она считает Таннис дурой.

Все они, чистенькие девочки, считают Таннис дурой, если не сказать хуже. Она ведь знает, что ее не хотели принимать, та же миссис Лоуренс заявила, что мест нет и в ближайшее время не предвидится. А потом добавила, что ее курсы предназначены для приличных женщин.

Таннис же... по глазам видно, что о ней думают. По кривоватым улыбочкам, по взглядам, которые скользят по ней, но никогда не задерживаются, и порой Таннис начинает казаться, что она — пустое место.

Зачем цеплялась?

Из упрямства, благодаря которому пробилась на самые первые курсы, где училась сидеть за столом, пользоваться вилками, ложками, отличать винные бокалы от коньячных. Очень нужные знания, Кейрену плевать, из каких пить. Потом были курсы по домоводству. И по развитию чувства стиля... шитья... кулинарные...

Таннис вздрогнула, вспомнив, как выковыривала косточки из смородины. Нет уж, лучше шиньон...

— Сначала разделяете волосы пополам... — Миссис Лоуренс не собиралась уходить. — А затем каждую половину еще на шесть частей. Шесть — это...

— Я знаю. — Таннис заставила себя улыбнуться. — И даже до десяти сосчитать смогу.

— Вот видите, все не так и плохо.

...приняла, потому как Кейрен заставил. И заплатил, надо полагать, раз в пять больше.

Чего ради, спрашивается?

Таннис ловко заплела двенадцать косичек. И миссис Лоуренс, нахмурившись, наклонилась. Она изучала косички придирчиво, однако изъяна не обнаружила.

— Чудесно, — ледяным тоном произнесла она, отворачиваясь. Шлейф черного платья скользил по паркету. Она останавливалась у каждого стола, благо учениц у нее было немного, и совсем иным, мягким голосом высказывала свое мнение о работе. Кого-то заставляла переделывать, кому-то бралась помогать, и почему-то помощь ее не была оскорбительна.

А может, кажется?

Мерещится Таннис всеобщее презрение, тщательно упакованное в цветные фантики хороших манер. Что вообще Таннис понимает в манерах?

Ничего.

И поэтому закручивает косички, перехватывая их металлическими заколками, косится на миссис Лоуренс, на девушек, что сбились стайкой, что-то обсуждая. Ее не зовут, а стоит подойти — замолчат, отвернутся, сделают вид, что заняты.

Чем она их раздражает?

Платьем? Красно-синий тартан. Мягкое и одновременно строгое. Воротничок-стойка, длинные рукава... турнюр этот безумный. Нет, одета она прилично. На волосах — плоская шляпка с длинной вуалью и черными перышками. В отличие от турнюра шляпки Таннис нравятся.

Она их сама рисует.

И модистка утверждает, что вкус у Таннис отменный, правда, стоят ее фантазии...

...в этом все дело, в том, что за Таннис платят.

— Чудесно! — Голос миссис Лоуренс отвлек. — А теперь аккуратно снимаем наш шиньон с доски.

Волосы повисли в руке Таннис. Покачивались заплетенные косички, и Таннис старалась отрешиться от мысли о том, кому они принадлежали прежде.

— И заворачиваем в льняную салфетку...

Салфетки лежали здесь же.

— Дома вы должны варить шиньон не менее четырех часов. В воду можно добавить несколько капель уксуса, тогда волосы приобретут яркий блеск.

Миссис Лоуренс сделала паузу. Таннис обернулась: скрипели перья, девушки тщательно записывали нехитрый рецепт.

— Но ни в коем случае не следует добавлять в воду сахар! — Она воздела указку к потолку. — Так вы бесповоротно испортите заготовку!

...тоска. И дурость несусветная. Узнай мамаша, что Таннис вознамерилась носить чужие волосы, выдрала бы как сидорову козу.

— После того как заготовка слегка обсохнет, ее необходимо поместить в духовку. Однако...

...зачем она здесь?

Учиться. Чему? Как к своим волосам, которые уже немного отросли, добавить чужие? И что, станет она краше? Сомнительно. И с каждым словом миссис Лоуренс сомнения крепнут. А ведь изначально ясно было, что никогда Таннис среди этих дамочек своей не станет, сколько бы курсов она ни закончила, сколько бы дипломов ни получила, сколько бы книг ни

прочла. А читать ей нравится.

...и ездить верхом.

Готовить, зная, что в кои-то веки получится что-то съедобное.

Таннис взглянула на часы, с немалым удовольствием отметив, что до конца занятия осталось минут пятнадцать, десять из которых миссис Лоуренс потратит на демонстрацию нового гарнитура. Сейчас Милли... или Элли... или Пегги — все они до того похожи друг на друга, что Таннис пугается — поднимет руку и спросит...

— Миссис Лоуренс, — раздался тоненький голосок, — скажите, а когда мы будем учиться делать украшения?

Этот вопрос задавали каждое занятие, и ответ Таннис выучила наизусть.

— Скоро, дорогая Эмили...

...значит, все-таки Милли.

— ...очень скоро. Сначала вы должны постигнуть основы. Работа с волосами требует...

...тоска, и собственное нетерпение подталкивает Таннис вновь и вновь оборачиваться к часам. Стрелки ползут так медленно, а завернутые в ткань чужие волосы жгут руки.

И наконец, свобода.

Таннис с трудом сдерживается, чтобы не броситься к двери бегом. Миссис Лоуренс выходит первой. Она не спешит, ведь женщине достойной не пристала спешка, возится с ридикюлем, с зонтом, который чересчур велик для нее и окрашен в черный траурный цвет. Она не идет — скользит над полом, и лишь стеклышки очков загадочно поблескивают. Поравнявшись с Таннис, она отвернулась.

Ну и плевать.

На нее, на всех прочих и... выбравшись на улицу, Таннис вдохнула терпкий дымный воздух.

Домой и...

...мальчишка налетел на нее, едва не сбив с ног.

— Простите, мистрис! — крикнул он, отскакивая.

Таннис едва успела за руку схватить. И кошелек свой из-за пазухи выдернула. Паренек раскрыл рот, чтобы заорать, но Таннис покачала головой, и он замолк.

— Есть хочешь?

— Пусти, не то хуже будет.

— Не дрожи, не сдам. — Таннис огляделась, заметив еще парочку оборванцев, замерших на углу. Нападать не станут, но и уходить не спешат, следят, чем дело закончится. — Есть, спрашиваю, хочешь?

— А че? Добренькая?

— Какая есть... — Она раскрыла кошелек и, вытащив банкноту, сунула. — На вот.

Благодарить не стал, но и шилом, которое сжимал в руке, не ударил. Схватил банкноту и сгинул.

Как ни странно, но происшествие это привело Таннис в отличное расположение духа. Она подняла воротник мехового пальто и раскрыла зонт. Снег пах городским дымом, да и квартал Жестянщиков, в котором, правда, давным-давно жестянщики не селились, располагался аккуратно напротив старых мануфактур. Ныне они спрятались за пеленой тумана и снега, на той стороне реки.

В конце концов, на что она жалуется?

Жива. Здорова. При доме и... разве не исполнилась ее давняя мечта?

Почти.

И Таннис неторопливой походкой двинулась вниз по улице. Кейрен если и появится, то вечером, а значит, есть еще время... бездна времени, которое она не представляет, на что потратить.

Может, на книги?

Лавка старика Кассия занимала первый этаж доходного дома. В забранных узорчатыми решетками окнами отражалась улица, с людьми и лошадьми, бездомной собакой и стаей голубей, разжиревших, суетливых. Таннис остановилась, не без удовольствия разглядывая собственное отражение.

...и замерла.

Черная горловина улицы легла поверх книжных корешков. Беззвучно плыл кэб, запряженный тяжеловозом, и меж массивных копыт лошади сновали голуби...

...быть того не может.

Господин в сером пальто с каракулевым воротником дремал, опираясь на зонт-трость.

...он мертв.

Онемевшей рукой Таннис толкнула дверь. И очнулась от звука медного колокольчика... уже скрывшись в темном проеме, все-таки не выдержала, обернулась. Но кэб проехал, и Таннис увидела лишь широкую спину кучера в бесформенном мятом плаще.

...мертв. Он должен быть мертв!

Ей просто показалось.

Конечно, показалось... день сегодня был беспокойным, вот и мерещится всякое...

— Добрый день, мисс. — Старик Кассий сложил газету пополам. — Премного рад вас видеть.

— Добрый день.

Она все-таки смотрела вслед кэбу, убеждая себя, что нынешнее происшествие — не происшествие вовсе. Да и то, видела она господина мельком, издали, отраженного в магазинной витрине... и отражение искаженное. И мало ли в городе людей, похожих на Грента?

Немало.

— Что-то случилось? — заботливо осведомился Кассий. — Вы побледнели...

— Голова... кружится.

И вправду кружилась, а во рту пересохло от запоздалого страха.

Пустое.

Этак она в каждом встречном Грента видеть начнет... а он умер.

Наверное.

— Я... пожалуй, в другой раз загляну. — Таннис поняла, что, еще немного, и ей действительно станет дурно. Сам воздух в лавке, пропитанный запахами типографской краски, книжной пыли и чернил, вызывал головокружение.

— Погодите, милая, — старик Кассий торопливо надел пальто, подхватил тросточку и фетровую шляпу, — неужели вы полагаете, что я отпущу вас одну?

Он перевернул табличку на двери и вышел вслед за Таннис.

— Вам не стоит...

Головокружение прекратилось. Почти.

И дурнота отступила.

Смех какой, Таннис и вправду на леди становится похожа, едва не сомлела, впору

нюхательные соли с собой носить. И уксус еще, чтоб было чем виски растирать. Уксус, говорят, ныне в большой моде.

— Уж позвольте мне решать. — Старик Кассий приподнял шляпу и поклонился, приветствуя знакомого. — К слову, я отобрал несколько книг, которые, представляется, будут для вас интересны...

Спокойный уютный человек, чей негромкий голос развеивал страхи. И Таннис постепенно убеждалась, что рождены они ее разыгравшимся воображением.

День ведь.

Обыкновенный.

Грохочут по мостовой копыта и колеса, снуют мальчишки-разносчики, норовя перебежать дорогу перед самую лошадиной мордой, видится им в этом особая блаженная лихость. Важно шествуют чиновники, коих можно различить по цивильным пальто невзрачного мышастого цвета. Гуляют дамы... военный, замерший на углу улицы, курит, стряхивая пепел на землю. Ветер подхватывает серые комки...

...летающие над домом.

Грязный снег. И вода, которая шипит, соприкасаясь с пламенем, не способная утолить его жажду.

— Мисс! — Рука старика Кассия не позволила упасть. — Пожалуй, стоит взять коляску.

Таннис не стала возражать. Дурно ей.

Стоит закрыть глаза, и она вдруг видит мамашу в драном ее халате. Коробку, вроде той, что Таннис отнесла на склады. И мамашины руки тянутся к коробке, а Таннис хочет предупредить, но не в силах произнести ни слова.

— Милая, — голос Кассия доносится издалека, — вам стоит обратиться к доктору...

Стоит. Наверное... Таннис в жизни не болела. Нет, когда-то в далеком детстве если ей случалось кашлять или после купания горло начинало драть, то мамаша наливала ей отцовского рома и заставляла выпить. Таннис засыпала, а просыпалась здоровой.

Она сжала руки, заставляя себя дышать.

Город.

И знакомая уже улица. Дома плывут, усиливая мерзкую слабость. И каждый удар копыта отзывается глухой головной болью.

— Все хорошо. — Она улыбнулась. — Просто... съела, наверное, что-то не то. Бывает. Полежу и пройдет.

Она и вправду почти поверила, что пройдет. И даже лежать не нужно, достаточно переступить порог ее с Кейреном дома. Старик Кассий помог выбраться из экипажа и, проводив до двери, оперся на тросточку.

— Милая, — он откашлялся и шляпу снял, кое-как пригладил редкие рыжеватые волосы, — ежели вдруг у вас случится некое... затруднение, то вот...

Он протянул визитную карточку.

— Это адрес моей сестры.

— Зачем?

— Она уж год как овдовела. А детьми Господь их не наградил, и Гевория будет премного рада предоставить кров достойной девушке, оказавшейся в затруднительных обстоятельствах.

Таннис карточку взяла, чтобы не обижать Кассия. Он единственный, пожалуй, был к ней по-настоящему добр.

— Не стесняйтесь обращаться...

— Спасибо.

Карточку она спрятала в ридикюль: не пригодится. И все, что случилось сегодня... ерунда. День не задался, бывает ведь такое...

Кейрен появился вечером и, подхватив Таннис на руки, закружил, прижал к себе.

— Я соскучился.

— И я... соскучилась.

Таннис обвила шею руками, с трудом сдерживая слезы.

— Что случилось?

— Ничего.

Просто он здесь и рядом, и целый день она провела, сражаясь то со страхами, то с воспоминаниями. Стоило заснуть, и сон оборачивался кошмаром.

Танцевало пламя на останках дома. И земля, раскрывая черный рот, полный гнилых кольев-зубов, норовила дотянуться до Таннис. Дышала смрадом, смотрела выпуклыми глазами подземников.

Она же пряталась, бежала, прорываясь сквозь вязкий, словно кисель, воздух, путаясь в нем, не способная оторваться от погони. Видела Грента и нож его, кружившийся на ладони. Томаса с перекошенным, перекроенным лицом. Она знала, что эти двое мертвы, но и мертвые они не желали оставить ее в покое. И Таннис, оказавшись в тупике, хваталась за шило, но вместо него в руке оказывалась заплетенная на двенадцать косичек заготовка.

Пробуждение приносило дурноту, которая не отступала ни от воды, ни от кислого лимонада. А голову сжимал тяжелый обруч.

— Просто... — она уткнулась носом в его шею, — без тебя плохо.

Стыдно признаваться в слабости. И Кейрен вздрогнул, а потом сдавил ее сильнее.

— Пойдем в театр?

— Сегодня?

— Сейчас... — Он все же позволил ей отстраниться и поцеловал в висок. — Пойдем, пока...

Не договорил, отвернулся.

— Тоже день не заладился? — Таннис держалась за его руки, с удивлением понимая, что отступили и дурнота, и боль, и вообще чувствует она себя замечательно.

— Не заладился, — согласился Кейрен. — Так как? Идем?

— Конечно.

Театр ей нравился.

Белый мрамор. Янтарь. Малахит и обсидиан. Каменная шкатулка, в глубине которой рождалось чудо. Позолота. Бархат. Газовые рожки, чей свет наполняет чашу сцены. И полумрак зала. Полумаска и бинокль, который почти игрушка... тишина ложи... голос Кейрена... его прикосновения, случайные, конечно, как иначе? Они — часть игры.

...веер.

Шоколад и шампанское, пузырьки которого тают на языке, обжигая холодом. Веселье... или тоска. Происходящее на сцене кажется далеким и вместе с тем трогает до глубины души. И Таннис, забыв о шампанском и шоколаде, подается вперед...

...с белой шалью на плечах, будто крыльями сложенными, крадется королева. Дрожит свеча в ее руке, и сама душа, не способная справиться с любовью. Переливы арфы шепчут о ней.

Музыка лечит. Вот только одной любви на двоих мало.

— Прости меня. — Кейрен подносит ее руку к губам, целуя пальцы. — Прости, пожалуйста...

— За что?

— За все.

Его шепот вплетается в арию отвергнутой королевы. И голос ее, простоволосой, страшной в белом своем наряде, напоминающем саван, дрожит от гнева. Дрожат и скрипки, подхватывая слова проклятия.

Громче.

Ярче.

До натянутой струны, до обрыва, до чужой боли, которая ощущается как своя. И Таннис закусывает губу, а во рту становится солоно.

— Ты моя, понимаешь? — Он стирает кровь, забыв о том, что многие смотрят отнюдь не на сцену. — Моя и только...

— Твоя... пока сама этого хочу.

Кейрен отступает и убирает руки, без которых становится холодно. Или это проклятие королевы заставляет Таннис дрожать?

Конечно.

Музыка. И вновь нервный хор скрипок, которые, перебивая друг друга, спешат рассказать Гуннару из рода Синей Стали, что королева станет мстить, а он, беспечный, отмахивается, не чуя, что скоро война.

Женщины коварны.

— Моя... — Кейрен встает. Он тень за спиной Таннис. И руки его на плечах надежны. Сама она запрокидывает голову, смотрит ему в глаза. Но в темноте ложи не разглядеть.

...падают ядом слова королевы. И хмурится король, сомнениями обрастает душа его. Вот он, стареющий, но крепкий, подходит к краю сцены, как к обрыву. Голос его низкий пробирает Таннис, она уже не понимает слов, но сама музыка — его сомнения.

Верить?

Кому из двоих? Чаши весов в его руке колеблются. Опасны псы, и люди ропщут, мечутся тенями за королевской спиной. Вздывают руки в мольбе: избавь от чужаков.

...посмотри, почернел белый камень.

Это знак.

— Моя и только... — лихорадочный, безумный шепот. И Таннис, поймав его руку, прижимает к губам, отвечая:

— Твоя...

И это правда.

...война вскипает на подмостках. Кренятся стяги, и сталь сияет, грохочет медный рукотворный гром. Двигается войско. Стоит королева, вздымая над головой расшитый стяг. На темно-красном, черном почти полотнище цветет белая роза.

И снегом сыплются под ноги войску лепестки.

...ради мести.

...ради гнева королевского.

...уничтожить. Вырезать. Всех. И совокупный вой толпы, которая подгоняет несчастного короля, заставляет Таннис отпрянуть, прижаться к Кейрену. А он лишь крепче обнимает ее, словно цепляется, боясь потерять.

И тишина. Странная. Белая.

Зыбкий голос королевы, в котором — ожидание.

Эхом — мягкий бас Гуннара.

Нить слов, в котором и обида, и горечь, и прощание, прощение, многое, что заставляет сердце замереть. И снова снег лепестков, который собирается в руках королевы. Полная горсть, и больше. Сыплются, укрывая сцену... и она, касаясь этого снега губами, просит прощения.

У кого?

— Все было не так... — шепот Кейрена в наступившей тишине кажется оглушающим. И Таннис оборачивается, пропуская миг, когда белое становится алым.

Грохот.

И вой скрипок. Треск ткани мира. Пламя, получившее свободу. Хор стонет, кричит, от криков этих рвется сердце, и Таннис затыкает уши, чтобы не слышать.

Она не хочет вновь видеть...

Шелковые языки огня, поднимаясь над сценой, скрывают людей...

Ткань. Просто-напросто ткань... и дым ненастоящий... Кейрен рассказывал, что его производит специальная машина, которую прячут под сценой. И другая машина создает ветер, который заставляет шелковые полосы раскачиваться.

Все ложь.

И Таннис с немалым облегчением выдыхает. Ложь, красивая, но не имеющая ничего общего с истинным огнем. К лучшему... что сегодня за день такой?

— С тобой все...

— Хорошо. — Она вновь целует раскрытую ладонь Кейрена. — Все замечательно. Просто... опера...

— Сильная постановка. — Он гладит шею Таннис, и от нежности этих прикосновений вновь накатывают слезы. Глупая девчонка, ну сколько реветь-то можно?

Тем паче без повода.

— Сильная...

Повержен король. И Гуннар из рода Синей Стали осаждаст древний Элодиниум. Обрывки пламени трепещут на остриях копий. А голос перекрывает совокупный рокот труб.

Сдаться...

...и раскрываются ворота. Бредет королева, боса и с непокрытой головой, в черном мешковатом платье, она преклоняет колени перед тем, кого и любит, все еще любит, и ненавидит.

Занавес падает, скрывая обоих. И робко, не смея разрушить послевкусие чуда, загораются огоньки.

— На самом деле все было иначе. — Кейрен подал руку. — Это, скажем так, вольная интерпретация.

— А как было?

— Без королевы.

Он не спешил покинуть ложу, ожидая, пока уйдут остальные, и Таннис не торопила.

— Псам некуда было идти, и тогда они договорились с людьми, дали им черный алмаз в обмен на право поселиться в Каменном логе.

Опустевшая сцена вызывала странное чувство. Нарисованный замок, и ковер вместо травы. Изнанка обмана, и удивительно, что еще недавно Таннис верила...

— Но шло время, и люди решили, что алмаз и так принадлежит им. А псы мешают. Нас было не так и много. Хватило бы одного удара.

В его изложении недавняя трагедия теряла театральную позолоту.

— Люди сами сунулись в Каменный лог.

— И что было дальше?

— А дальше они почти не солгали. Гуннар Стальной вскрыл жилы...

...истинное пламя получило свою жертву.

Таннис отвернулась от сцены. Почему-то сейчас она особенно остро чувствовала обман деревянных декораций и печальный снег живых лепестков, которые скоро станут грязью.

Чего ради?

Удовольствия? Игры? Памяти?

— И да, тогда Гуннар осадил город, а королева подписала мирный договор, признав его власть. Хочешь, я покажу тебе ее?

— Королеву?

Безумное предположение, но Кейрен, одержимый им, спешит. И Таннис приходится бежать, подхватив тяжелые юбки. Юбки путаются в ногах, и сами ноги становятся неуклюжи. А он вдруг останавливается и, схватив Таннис за руку, дергает.

— Тише. Она не любит, когда на нее смотрят... видишь?

Видит.

Холл театра пуст.

Желтый янтарь, белое пламя, в нем отраженное. И женщина-призрак. Ее сложно не заметить. Высокая, непомерно худая, издали она выглядит изможденной, едва ли не прозрачной. И платье лишь подчеркивает эту неестественную худобу.

Кружево. И шелк. Узкий крой с подбитыми ватой рукавами, закрывающими руки до кончиков пальцев. Крылья фижм и жесткое колесо воротника. Волосы ее зачесаны наверх и прикрыты крохотной, едва ли больше яблока, шляпкой.

— Она редко выходит из дому...

— Королева? — шепотом переспросила Таннис.

Женщина их не слышит. Она замерла в картинной позе, округлив плечи и руки разведя. Ладони ее раскрыты, они выделяются на белой ткани темными пятнами, и кончики пальцев соприкасаются.

— Ее праправнучка. — Кейрен тянет за собой, и Таннис отступает в полумрак коридора, пряча свое стыдное вдруг любопытство. — Говорят, она до сих пор хранит корону с проклятым алмазом...

Рядом с королевой, куда более жуткой, чем та, из-за которой развязалась театральная война, суежилась пухлая женщина в розовом, обильно украшенном рюшами платье. Она что-то говорила, то и дело оглядываясь. И вдруг замерла, с неестественной поспешностью отпрянув от королевы...

— Матушка, — этот голос заставил Таннис замереть, — прошу простить меня за промедление, экипаж подан...

Молодой человек в черном фрачном плаще набросил на плечи королевы шубу, столь огромную, что Таннис показалось — переломится. Королева устояла, кивнув благосклонно... но Таннис больше не видела ее.

Бледное, будто из мрамора высеченное лицо с тонкими чертами. Узкие губы. Несколько массивный нос и тяжеловатый подбородок. Аккуратный разрез глаз и такой до боли

знакомый шрам на щеке... он почти и незаметен, и Таннис удивительно, что она этот шрам увидела.

Или показалось?

— Кто это?

— Освальд, герцог Шеффолк... правда, многие именуют его Принцем.

Освальд обернулся.

— Когда-нибудь, — добавил Кейрен вполголоса, — он станет королем...

Да, пожалуй.

Он всегда хотел стать королем, и... Таннис запоздало раскрыла веер, заслоняясь от ледяного чужого взгляда. Ей показалось.

Вновь.

День такой, что мертвецы оживают... плохая примета.

Шеффолк-холл медленно пробуждался к жизни. Нанятые работницы избавляли его от пыли и паутины, счищали копоть со стен, и лепнина обретала исконный белый цвет. На засиженных мухами потолках проступали фрески, покрытые вязью трещин. В спешном порядке чинились стены, покрывались новыми бумажными обоями, которые Марта полагала сущим баловством. Но тайком восхищалась, отрезала кусочки, которые привычно прятала в широких рукавах, а после уносила в комнату.

В ее комнатах скопилось немало пустых вещей.

...бестолковая женщина, пустоголовая, но безопасная. И Ульне привыкла к ней, а ныне, в потревоженной тишине Шеффолк-холла, привычка значила многое.

Внося свою долю беспокойства, появлялись плотники и столяры, мастера-краснодеревщики и реставраторы, которых Ульне старательно избегала. Впрочем, в доме было не скрыться от перемен.

...Шеффолк-холл готовился принимать гостей. Уже разосланы приглашения в серых конвертах с гербовой печатью.

— Матушка, вы меня искали?

Освальд выглядел встревоженным.

— Да, дорогой.

К счастью, перемены обошли стороной покои Ульне. И за массивной дверью с замком, ключ от которого Ульне по-прежнему носила с собой, царило ставшее уютным запустение.

Снова розы.

И букет ложится у ног Ульне, она же благосклонно кивает, наклоняется, проводя пальцами по тугим бутонам. На пальцах остается слабый аромат... быть может, эти поставить в воду? Раз уж Шеффолк-холл столь разительно изменился?

— Ты должен жениться. — Ульне вытерла пальцы платком. В ящике ее комода хранились дюжины платков из тонкого батиста, украшенных монограммой... все-таки и сумасшедшим нужно чем-то заниматься, а вышивка когда-то весьма ее увлекала.

— Да, матушка, на ком?

Хороший все-таки мальчик, понятливый... и корона ему пойдет.

...рано еще.

Но ведь пойдет... пусть и не осталось ее, все же подобные вещи хранить небезопасно, однако Освальд сумеет понять и правильно распорядиться наследством.

— Мэри Августа Каролина фон Литтер...

Молчит и ждет продолжения, устроился на скамеечке у ног и гладит расшитый жемчугом подол свадебного платья.

...и Освальд делал так же, правда давно, еще когда ему было лет пять... или уже старше? Он так быстро вырос, ее болезненный хрупкий мальчик...

Забывать.

Слабая кровь, порченная.

...он вечно хныкал и вытирал нос рукавом. Боялся теней. Плакал, пробираясь тайком в комнату Марты, и следовало бы одернуть, но Ульне предпочитала не замечать.

Сама ли она виновата в слабости сына?

— Фон Литтер богат, и род древний, хотя об этом он предпочитает не вспоминать.

Друг отца, дорогой дядюшка Ансельм, некогда частенько гостивший в Шеффолк-холле. Он появлялся в нарядном экипаже, и Ульне, прильнув к окнам, с завистью разглядывала и карету, и лошадей, и сбрую их. Особенно впечатляли алые плюмажи... а отец повторял, что деньги — пыль.

Главное — честь рода.

Дядюшка Ансельм возник и в день похорон. Черный костюм, черное драповое пальто с собольим воротником. Черная трость и черные скрипучие ботинки. Он взял Ульне за руку и долго, нервно говорил о небывалой потере для нее, о сочувствии... а потом предложил поддержку.

Не даром, конечно.

Ему не нужен был агонизирующий Шеффолк-холл, и драгоценностями Ульне он не бредил, но желал лишь ее саму.

— Девочка моя, — он наклонялся, прижимаясь к ней всем своим грузным телом, — ты же понимаешь, что пока я женат и о разводе не может быть и речи...

Его жена принесла ему суконную фабрику и старую мануфактуру, на которой производили конопляные канаты. А в перспективе грозила осчастливить несколькими заводами, которые фон Литгер уже полагал своими.

— ...но после ее смерти, я клянусь...

Она отказала.

Выставила прочь. И дядюшка Ансельм, видать от расстройств, предъявил к оплате отцовские векселя. Чтобы рассчитаться с ним, пришлось продать оставшихся лошадей, матушкин рубиновый гарнитур и отцовские книги... что-то более древнее Ульне не посмела тронуть. Но ей пришлось бы, поскольку векселя появлялись вновь и вновь, а кредиторы устремились к дверям Шеффолк-холла вереницей, но спас Тедди.

— Привет, кухня, — сказал он, появившись в отцовском кабинете. Ульне раздумывала, что именно ей продать — прабабкину сапфировую брошь в виде букета незабудок или прадедов перстень с желтым алмазом, подозревая, что придется расстаться и с тем, и с другим, и со многим еще. — Помощь нужна?

Тедди сел на стол, и она разрыдалась. Тогда еще Ульне умела плакать. А он, обняв ее, пообещал:

— Никто не тронет тебя и этот чертов мавзолей, клянусь.

Тедди сдержал слово, кредиторы вдруг исчезли, а векселя вернулись к Ульне, и она развлекалась, делая из них кораблики... они хорошо горели. Дядюшка Ансельм больше не заглядывал в Шеффолк-холл, но на каждое Рождество по старой традиции присылал толстого гуся и бутылку вина. Ульне принимала.

...его жена умерла двадцать пять лет тому, сделав его свободным и богатым. Дядюшка Ансельм втрое увеличил состояние, полученное от нее, и женился вновь, естественно, с выгодой. Его новая супруга одарила дядюшку угольной шахтой и верфью... а ко всему — наследницей.

Ульне отправила на крестины кружевной чепчик и серебряную ложку с ангелом на черенке...

...двадцать три года прошло.

Девушка выросла и, поговаривали, собиралась выйти замуж, но с женихом ее случилось несчастье: не то убит, не то пропал.

Ульне ей сочувствовала.

До недавнего времени.

— Ты видел ее в театре. — Она перебирала пряди волос, и Освальд, положив голову на ее колени, считал жемчуг...

...тот, другой, вечно простужался и кашлял, не в силах согреться, он жался к Ульне, и она накрывала его плечи пуховой шалью. Правда, шаль была старой и пух сваялся, почти не грел.

Марта же, связав очередной ужасающий шарф, кутала Освальда. И приносила с кухни теплое молоко, заставляла пить, рассказывала нелепые истории, которые принято рассказывать детям. Марту он слушал с куда большей охотой, нежели Ульне.

...эти истории его испортили.

И шарфы. И молоко...

— Та бледная девица с выпученными глазами? — уточнил Освальд.

— Да.

И вправду бледная, почти как ее мальчик. Совсем отвык от солнечного света, как и Тедди... Тедди, надо полагать, умер... впрочем, он тоже стал совсем-совсем чужим и о смерти его Ульне не сожалела. Порой ей казалось, что она утратила саму эту способность — сожалеть.

А девица... полноватая и обрюзгшая, а ей всего-то двадцать три года. Овальное оплывшее лицо с тремя подбородками, которые скрывают короткую шею. Ее нос велик, а надбровные дуги выступают, брови же срастаются над переносицей, темные, жесткие. Девица их выщипывает и пудрится, скрывая покрасневшую кожу. Ее рот капризно изогнут, а глаза пусты. Темные кабошоны в оправе редких ресниц.

— Если вы полагаете, что она станет хорошей женой...

— С нею ты получишь поддержку фон Литтера, а с ним и псы считаются. — Она захватила светлую прядь, потянула, заставляя Освальда запрокинуть голову.

...и все-таки похож.

Чем дальше, тем больше... быть может, просто собственный болезненный разум Ульне находит сходство там, где ей хочется, но... Тедди, пожалуй, следует сказать спасибо за такой подарок.

...Тедди забрал Освальда, сказав:

— Мальчишке нужна крепкая рука. Вы его избаловали.

— Если бы ты чаще появлялся дома...

— Дорогая кузина, — он поклонился, демонстрируя остатки хороших манер, — если бы я чаще появлялся дома, ты бы первой взвыла...

В тот раз он надел василькового цвета пиджак с подбитыми ватой плечами и узкие брюки, которые несколько ему не шли. Франтоватый костюм этот донельзя раздражал Ульне.

— Ко всему, — на шее Тедди завязан был пышный шейный платок, заколотый рубиновой булавкой, — у меня нет никакого желания жить на погосте, и наш драгоценный дедушка, если помнишь, отрекся от меня, запретил появляться здесь.

— Деда уже нет. И отца.

— Верно, нет. — Тедди поклонился его портрету, пополнившему семейную галерею. — Но есть ты, его опора и надежда. Неужто ослушаешься?

...он научил Освальда лгать. И показал иную жизнь, которую до сего дня от мальчишки прятали за дверями Шеффолк-холла. Он пристрастил к игре, но... он же привел этого парня,

тогда нелепого, угловатого и мосластого.

— Щенок тебе понравится, — сказал Тедди, наградив подопечного подзатыльником. — Позаботься о нем...

— Освальд...

— Он теперь Освальд. — Тедди смотрел в глаза, и Ульне выдержала взгляд. Из них двоих она всегда была сильнее, и Тедди признавал это. Но на сей раз он не отступил.

— Кузина, — он сказал это и коснулся щеки, прикосновением подтверждая давнюю, не разорванную изгнанием Тедди связь, — я помогал тебе, никогда не прося ничего взамен. Но сейчас... позаботься о мальчике. Поверь, вы понравитесь друг другу.

И он оказался прав, неутомимый ее братец.

— Матушка? — Его голос вывел из воспоминаний.

В последнее время Ульне все чаще проваливается в прошлое... что это, как не призрак старости? Или, и того хуже, смерти?

— Не думаю, что фон Литтер будет возражать против твоих... ухаживаний. А девицу и сам очаруешь. Ты сумеешь.

— Я рад, что вы в меня верите.

...в нем и от Тедди что-то есть.

— А что до жены, то... мне она показалась послушной, много от жены и не требуется. Она унаследует состояние фон Литтера... — И Ульне имела основания полагать, что случится сие, как только состояние понадобится Освальду. Его планы требовали немалых затрат. — И ты сумеешь сделать так, чтобы жена тебе... не мешала.

— Да, матушка.

— Но будь осторожен. — Ульне погладила сына по щеке. Холодная какая, все еще не способен согреться? — Дети от нее не нужны. Гнилая кровь не удержит корону.

Слушает. Смотрит... любит? И вправду любит.

Тот, другой, взрослея, любовь свою растерял. Он кричал, что Ульне запирает его, лишает жизни, права на которую он имеет. Он рвался из Шеффолк-холла, не понимая, что здесь его корни.

И не только его.

— Ты силен. И найди себе сильную женщину. Яркую. Таковую, которая любит жизнь. Пусть она родит тебе детей, а твоя жена признает их. Так делали раньше...

...она могла бы рассказать десятки историй о Шеффолках: о да, имена на родовом древе хранили множество тайн.

— Да ты и сам знаешь.

— Да, матушка... — Странная усмешка, которая исказила лицо. Веточка шрама, нежная, словно нарисованная на щеке, ничуть его не уродовала, вот только улыбку делала слегка кривоватой. — Я понимаю, о чем ты говоришь.

И тихо, так, что Ульне едва-едва расслышала, добавил:

— Или о ком.

Ульне отвернулась и нечаянно столкнула пудреницу, стоявшую на краю туалетного столика. Та упала на пропыленный ковер, покатила, оставляя за собой дорожку комковатой потемневшей пудры, больше похожей на прах. И Освальд потянулся было поднять, но Ульне остановила:

— Не надо, пусть лежит.

— Полагаю, — он все же мазнул по ковру пальцами, растер комок и поднес к носу,

вдохнул запах и поморщился, — свадьбу желательно сыграть быстро... вы ведь нездоровы, матушка.

— Нездорова... насколько мы спешим?

— Рождество.

Ульне поморщилась, она не любила, когда время, послушное время медленного ее дома, вдруг ускоряло ход. До Рождества, которое в Шеффолк-холле отмечали по старым обычаям, оставалось полтора месяца... успеется.

— Тебе следует купить специальную лицензию на брак. — От собственных пальцев пахло не пудрой, но старостью. И Ульне искренне ненавидела этот запах, кисловатый, отмеченный болезнью и гранью, о которой она старалась не думать.

В семейном склепе достаточно свободных мест...

— Дорогой. — Ульне приняла руку, оперлась, поднимаясь, хмурясь, до того тяжело, со скрипом распрямлялись суставы, и кости начали ныть, никак погода вновь переменится. Хорошо бы морозы начались. — Надеюсь, мой любимый кузен был похоронен подобающим образом?

...Тедди всегда был уверен, что Ульне уйдет первой. Какая насмешка...

— Конечно, матушка, — поклонился Освальд. — Со всем моим уважением.

— Хорошо... иди, тебе наверняка есть чем заняться.

А Ульне, пожалуй, проведает супруга.

Расскажет о том, каким глупцом он был... Шеффолки не прощают предательства.

Никому.

Шеффолк-холл пылал.

Распустились белые бутоны газовых рожков, трепетали, наполняя зал резким, чрезмерно ярким светом, от которого у Марты слезились глаза. И она отступала в тень колоннады, туда, где медленно оплывали восковые свечи. В свечах не было никакой надобности, но Ульне с ними было привычней.

Разве мог он в чем-то отказать дорогой матушке?

Переменилась.

Очнулась от сна, сбросив тлен древнего свадебного наряда, облачившись в бальное платье из грани^[6], затканной букетами золотых розанов. Ей к лицу.

Помолодела.

И фигура сохранила девичью стройность. Марта провела по собственному животу, стянутому корсетом до того туго, что и дышать-то получается через раз.

Нет, надобно признать, что Освальд не поскупился, и собственное, Марты, бальное платье из розового дамасса^[7] выглядит богато, но...

...не в платье дело.

Непривычно. И страшно.

Мать и сын?

Ложь, все ложь... но раскрой Марта рот, разве поверят ей? Вот он придерживает матушку под локоть, ведет ее к гостям, коих слетелось множество. Мужчины в черных бальных нарядах, похожие на разжиревших по осени грачей, такие же важные, расхаживающие по залу с ленцой.

Женские платья роскошны, подобные Марта только в журналах видела. Спят драгоценности, которым холодный газовый свет пришелся по душе. И алмазы сияют,

разгорается пламя в рубинах, и холодная сапфиров синева завораживает.

Подходят. Кланяются хозяевам.

Разглядывают.

Удивляются, что Ульне, обезумевшая Ульне, вовсе не так безумна, как о том говорили.

Марта вытащила из ридикюля овсяное печенье, несколько залежавшееся, но Освальд в преддверии приема выгреб все ее запасы, мол, нечего матушку позорить.

А печенье Марту успокаивает.

Она, когда в Шеффолк-холл приехала, то первым делом наелась досыта, и именно печеньем, каковое дома только по праздникам и покупали... казалось, жизнь теперь сплошным праздником и будет.

— Марта! — Господина, облаченного в темный, с прозеленью, сюртук, она не сразу узнала. Постарел-то как! Лысина, некогда проклевывавшаяся на макушке, ныне разрослась, и редкие пучки волос торчали над мясистыми ушами, кои сами обрели цвет темно-красный, будто бы господин испытывал мучительное чувство стыда. Красным был и хрящеватый нос его, и глубоко запавшие глаза. — А ты нисколько не изменилась. Все такая же красавица!

Марта знала, что ей лгут, но ложь эта была приятной.

— А я вот постарел, постарел. — Ансельм поклонился. — Увы, не пощадили годы...

— Все мы стареем. — Марта поспешно отряхнула перчатки от крошек, правда, запоздало подумала, что теперь крошки будут на юбке, но... вдруг да не заметят?

Ансельм припал к ручке.

— Рад, что Ульне решила покончить с этим глупым трауром... если его можно так назвать. — Ансельм вставил в левый глаз стеклышко монокля. Цепочка свисала до самой шеи, узкой, морщинистой, перехваченной белым воротничком и широким кольцом галстука. — Она по-прежнему хороша... а Освальд никак в матушку пошел?

— В матушку, — подтвердила Марта, озираясь.

Старый лис не просто так появился, и... достаточно намека, чтобы насторожить его. Отступит.

Исчезнет.

А он, точнее его снулая дочь, возле поплиновых юбок которой крутится Освальд, нужны подменьшу, и Марту тянет намекнуть, испортить чужую игру.

Она открывает рот.

И закрывает.

Освальд поймет, на ком лежит вина за провал, и тогда... нет, Марта не настолько смела.

— Конечно, конечно... на кого же еще, — хмыкнул старик. — Мальчик вырос у вас на руках...

Освальд подал руку, приглашая девицу фон Литтер на танец. И она, порозовев так, что это было заметно и под слоем пудры, согласилась.

— Слышал, что вы заменили ему мать. — Ансельм улыбался, демонстрируя выпуклые красивые зубы, ровные и удивительной, неестественной почти белизны.

— Д-да... — Марте отчаянно хотелось спрятаться, но она подозревала, что сбежать от излишне назойливого гостя не выйдет.

— Ульне так холодна... ко всему была занята своими бедами...

...да, он верно говорит. Безумная, безумная Ульне... она виновата, что Освальд стал таким. Она по-своему все же любила сына, но ее любовь, как и Шеффолк-холл, была лишена тепла.

Мальчик страдал.

Ему было так страшно в огромных герцогских покоях, где полно теней и звуков, признаться, Марта и сама опасалась туда заглядывать... а эта ужасная кровать под балдахин? Ребенок терялся в ней. Марта распрекрасно помнит Освальда, бледного, тощего, с неестественно длинными руками и острыми коленками. Вот он, забравшись на кровать, дрожа — в комнатах топили мало, редко, сидит, похожий на призрака в белой своей рубашке. И ночной колпак съехал, упал на пол, и надо бы поднять, ведь Ульне будет ругаться, но Освальду страшно.

Он так и сказал Марте:

— Я боюсь. Возьми меня к себе.

— Не могу. — Она подняла колпак, от которого едва уловимо пахло мышами — в доме в тот год развелось множество мышей, и сказала: — Мама будет ругаться. Ты же не хочешь огорчить ее.

Освальд покачал головой.

— Ложись спать. — Марта отбросила тяжелое, слишком уж тяжелое для ребенка одеяло.

А он вновь головой покачал и пожаловался:

— Там шелестит.

— Где?

В матраце, плотном, некогда пуховом, но пух давно уже заменили соломой. Поверх матраца легли старые меха, а в них и в соломе обосновались мыши.

И мыши шелестели.

— Он за мной придет. — Освальд схватил Марту тонкими пальчиками.

— Кто, дорогой?

— Вожак псов... он захочет, чтобы я умер...

— Ерунда какая. — Она поцеловала ребенка в щеку, пусть Ульне строго-настрога запретила глупые нежности: Освальд должен расти мужчиной. Но ему только пять, и Марте нестерпимо хочется обнять мальчика. Она и обнимает, он же прижимается к ней тощим дрожащим тельцем.

— Забери меня, — просит. — Забери меня отсюда... пожалуйста. Давай убежим!

Ах, если бы у Марты хватило смелости, но разве Ульне позволила бы уйти? О да, она отпустила Освальда, когда тот стал достаточно силен, чтобы вырваться, но... что с ним случилось?

Марта догадывалась.

И сжала губы, запирая догадку. Она же повернулась к Ансельму и, наклонившись, — к старости стала подслеповата, — уставилась на замечательные его зубы.

— Альвы, — признался Ансельм, постучав по резцам ногтем. — Еще до войны собрался за Перевал. Обошлось в копеечку, но мой доктор оказался прав. Такие мастера. Как новые стали. Лучше новых.

Он улыбался широко и счастливо.

И Марта позавидовала ему... альвы, значит. А у Марты зубы болят, ноют по вечерам, и доктор прописал опиумную настойку, но сны от нее становятся тяжелыми, муторными. Нет уж, Марта пока терпит, а как терпение иссякнет, обратится к дантисту, чтобы удалил больной зуб... или два... или три...

— Рад, что Ульне решила породниться. — Ансельм не отставал, он шел следом за Мартой и монокль вертел на пальце. Стеклышко поворачивалось, посверкивало хитро. —

Освальд — хорошая партия для моей девочки. Я и сам намеревался предложить, но вот ходили слухи...

— Не стоит верить слухам, дорогой Ансельм. — Ульне плыла навстречу.

Королева.

И алмазная диадема сияет короной на седых волосах. Ее прическа проста, и эта простота лишь подчеркивает удивительную красоту диадемы.

— Ты все так же прекрасна. — Ансельм согнулся в поклоне и распрямился с кряхтением. Ульне ответила благосклонным кивком.

Холодная.

Ледяная. Или скорее уж вырезанная из слоновой кости. Напудренное лицо — маска тонкой работы. И шея, худая, жилистая... и руки эти полуобнаженные, но не измаранные желтой россыпью пигментных пятен, как собственные руки Марты...

— А ты все так же любезен. — Ульне подала руку, и Ансельм вновь согнулся, касаясь ее губами, оттого не видел, как маска-лицо изменилась, полыхнув ненавистью.

Презрением.

И вновь сделавшись равнодушной.

— Вижу, что Шеффолк-холл возрождается... премного этому рад.

— Неужели?

— Ах, Ульне, ты же не позволишь старому... недоразумению разрушить счастье детей. Посмотри, до чего красивая пара! — Он всплеснул руками, точно сам удивлялся, что не заметил прежде.

Красивая?

Освальд хорош, ему к лицу строгая чернота фрака, да и сам фрак, по мнению Марты многим мужчинам придающий совершенно дурацкий вид, сидит замечательно, подчеркивая и широкие плечи подмышца, и талию его. А девица робко улыбается, но улыбка вовсе ее не красит, напротив, она какая-то нелепая, виноватая. И взгляд этот исподлобья, и явная дрожь в руках...

Марта и сама дрожала, но отнюдь не от смущения.

Предупредить? Хотя бы ее, но...

— Не позволю, — ответила Ульне, окинув Ансельма насмешливым взглядом. — Но, дорогой... дядюшка Ансельм, в отличие от вас я не могу похвастать крепким здоровьем. А в последние месяцы и вовсе чувствую себя преотвратительно...

Он покачал головой, поцокал языком, выражая сочувствие.

Марта не поверила.

— И мне хотелось бы поторопить события... конечно, если Всевышнему будет угодно, я проживу и год, и два, но... — Из широкого рукава появился платочек, которым Ульне сняла невидимую слезу. — Мне бы безумно хотелось присутствовать на свадьбе единственного сына... и наследника.

Она добавила это чуть тише, и Ансельм насторожился. Он позабыл про монокль, который вновь свисал на толстой цепочке, и Марта не в силах была отвести от стекляшки взгляд.

— А Тедди?

Вопрос осторожный, но дрогнувший голос выдает волнение.

— Мой несчастный кузен... — В руках Ульне развернулся веер, украшенный тем же рисунком из золотых розанов. — Вы же знаете, что дед отлучил его от рода...

— Печальная история, печальная... мне представлялось, что он несколько погорячился... ваша тетушка, конечно, была не права, а в итоге пострадал столь милый юноша. Мне казалось, вы-то лишены предубеждений и исправите сию досаднейшую оплошность.

Освальд вел в танце, но девица шла тяжело, то и дело забывая движения, то спотыкаясь, то путаясь в юбках, краснея и от волнения ошибаясь вновь и вновь.

Ее не пощадят.

Ни он, ни Ульне.

— Увы. — Веер дрогнул, и золотые розаны полыхнули светом. — Единожды приняв решение, дед имел обыкновение придерживаться его... что бы ни произошло. Вам не о чем волноваться, Тедди не имеет на Шеффолк-холл прав... равно как и на титул.

Марта вытащила печеньице, последнее, не считая тех, что припрятаны в ее комнате под матрасом, понюхала и вернула в ридикюль.

...не следовало злить Ульне.

— Более того, — Ульне приняла предложенную руку, — мой несчастный кузен оставил нас...

— Прошу простить меня за бестактность... не знал... примите мои соболезнования.

— Ах, дядюшка Ансельм, вам ли не знать, я давно похоронила Тедди в своем сердце... и то, что случилось, было предопределено.

...овсяное печенье Марта крала для Освальда. Спускалась на кухню, огромную, некогда занимавшую половину подземного этажа Шеффолк-холла, но ныне полупустую. Она помнила темноту и характерный запах металла, угля и дерева, сдобы, которую готовили. Тяжелые очертания печей, чьи зевы прикрывались чугунными заслонками. Широкую полосу стола, сделанного из вишни многие столетия тому. Ножки его почернели и заросли грязью, как и плиты пола, отчего казалось, будто стол этот вырастает из камня. На краю его повариха, древняя, полуслепая, и оставляла корзину с печеньем...

— Но все же жаль, премного жаль... — Ульне и вправду сожалела, но лишь человек, хорошо ее знающий, способен был уловить тень жалости на ее лице.

...повариха пекла печенье жестким, порой оно подгорало, но Освальду нравилось и такое. Он был голоден, однако не смел просить добавки.

Герцог Шеффолк обязан управляться со своими желаниями...

...и с голодом.

...и со страхом.

...и с обидами, которые накапливались год от года.

Предки следят. И однажды он, мальчик, который ждал Марту с ее печеньем, с молоком в старой герцогской фляге — Ульне рассвирепела бы, узнав, для чего Марта использует столь ценную, с точки зрения истории, вещь, — устал сражаться с прошлым.

У него хватило сил и злости вырваться из Шеффолк-холла.

Вот только совсем уйти ему не позволили.

И Марта погладила печенье сквозь тонкую ткань ридикюля. Она придумает, как помочь этой девушке... обязательно придумает.

Не успела.

Свадьба состоялась спустя две недели после бала и отличалась изысканной простотой. Невеста в белом пышном наряде была почти прекрасна. Она и вправду верила, что в этом мертвом доме возможно стать счастливой?

Кэри помнила, как ступила в холл, с трудом удерживая ставшую вдруг неподъемной сеть портала. Она слышала натужный хруст контура, готового в любой момент схлопнуться. Энергия, вливаемая в него, вытекала сквозь многочисленные прорехи, трещали узлы и медленно разъезжались связки.

Рвалось пространство.

И плескало пламенем под ноги.

— Проклятье!

Кэри добавила пару слов покрепче, из тех, которые слышала в заведении мадам Лекшиц, и натянутая струна жилы не вынесла грубости, разорвалась, опалив отдачей. По ушам, тонким звуком, нервным, словно плетью, и от удара Кэри согнулась, зажав уши ладонями, ощущая, как ползет по шее что-то мокрое...

Кровь?

Кровь, лаковая, красная, смешанная с живым железом... перчатки испачкались... и подол слегка обгорел... а в голове снова шум, но не такой, который появлялся от коньяка... и Кэри сглатывает, сглатывает вязкую слюну, но не справляется.

Ее выворачивает прямо на паркет, и она, прижав руки к животу, пытается унять тошноту.

Спазм за спазмом.

И тело корежит давно позабытой болью. Плаваются кости, выворачиваются, растягиваются мышцы, и платье вдруг становится тесным, неудобным.

Разъезжаются лапы по паркету, когти оставляют на дереве глубокие царапины, и Кэри трясет головой, пытаясь избавиться от шляпки. Широкая скользкая лента зажимает уши, и бант давит на горло. Она пятится, стараясь не наступить на собственный хвост, который как назло оказался еще более длинным, чем Кэри помнила...

Жила предвечная...

Кэри изогнулась и, ухватившись за ткань, рванула. Раздался треск, показавшийся ей оглушительным, и платье окончательно погибло.

А дальше что?

Она села, привыкая к новому непривычному телу. Щелкал хвост, пересчитывая половицы. Чесались зубы и десны, Кэри испытывала огромное желание что-либо сгрызть, к примеру балясины лестницы... или ковер... она даже пригнулась, убеждая себя, что ковер пыльный и внимания ее недостойн.

— Леди! — Фредерик выплыл навстречу и в кои-то веки утратил прежний невозмутимый вид. Впрочем, удивление длилось недолго. — Прошу прощения, но нас не предупреждали... Мастер появится...

Появится.

Кэри зарычала, чувствуя, как на загривке расправляются стальные иглы. Хвост же застучал по паркету сильнее... Надо успокоиться... Подняться вверх... к себе... а уже там Кэри как-нибудь да вернет человеческий облик, благо, эхо потревоженной жилы стихало.

— Леди, я могу чем-то помочь?

Покачив головой, Кэри поднялась.

...в Каменном логе все было намного проще. Там пели жилы и ветер кружил золотые искры, которые, оседая на шкуру, не жалили — ласкали. Вилась под лапами огненная

поземка, шептала о том, что рада видеть Кэри. Звала за собой.

Поиграть.

Поймать белую бабочку пепла... они плясали в воздухе странным подобием снега.

Или заглянуть в мутное зеркало лавы, которая опалит жаром, но не причинит вреда. Подобраться к разлому, над которым вот-вот распустится пламенная хризантема. Кэри ведь помнит, сколь прекрасна она была. Узкий витой стебель, жгут, на конце которого набухла капля, темно-красная, она меняла цвет, становясь больше, раскрывая узкие лепестки один за другим...

Хвост раздраженно метнулся и задел ножки столика, едва столик не опрокинув.

Первый шаг и скрип половиц... Сверр говорил, что у нее неправильный облик, слишком тяжелый, слишком мужской... и Кэри изогнулась, коснувшись носом собственного бока.

Все по-прежнему.

Плотная треугольная чешуя черепицей льдяно-белого, какого-то неестественно чистого цвета, острые иглы на гребне. И полупрозрачные когти.

Шаг.

И постоять, привыкая к себе. Снова шаг... под внимательным обеспокоенным взглядом Фредерика... от него приятно пахнет свежей выпечкой... и корицей, а на обшлагах домашней куртки он принес аромат ванили и под курткой прячет фляжку, правда не с коньяком, со сладким дамским ликером...

Фредерик не попятился, но склонил голову, позволяя себя обнюхать.

Седые волосы... он старый, он давно сторожит этот дом и, верно, помнит Брокка еще ребенком... и отца его... и деда...

...кухарка?

Новая повариха, нанятая перед самым отъездом. Невысокая, плотно сбитая женщина в миткалевом платье ярко-зеленого цвета и в красной косынке. Узел она завязывала сбоку, из-под косынки выбивались светлые пряди волос. У нее были отменные рекомендации. И готовила она замечательно. Ее взяли, потому как Кэри думала, что уезжает ненадолго. Месяц или два... а целый год прошел.

— Леди? — Фредерик ждал распоряжений.

Все-таки он и кухарка... а почему бы и нет? Брокк рассказывал о нем, обо всех обитателях старого городского дома. Фредерик уже несколько лет как овдовел, а сын его вырос. И, наверное, ему одиноко.

Всем время от времени бывает одиноко.

И Кэри села, с удивлением обнаружив, что смотрит на человека сверху вниз.

— Позвольте сказать, леди, — с поклоном произнес Фредерик, — что вы прекрасны.

Ложь. Женщина не должна быть такой... женщине вовсе не следует демонстрировать животную сторону природы кому бы то ни было.

— Пожалуй, мне следует распорядиться о завтраке?

Кэри кивнула. Теперь она ощущала лютый, совершенно неприличный голод.

— Вы подниметесь к себе?

Снова кивок.

Попытается. Лестница, прежде казавшаяся надежной, ныне выглядела довольно-таки хрупко. И ступеньки узкие... и Фредерик понял.

— Она выдерживала мастера, который, поверьте, был несколько крупнее...

Брокк? Ее мастер, который... не стоило вспоминать, потому как шея сама пригнулась,

уши прижались к голове и из глотки вырвалось совершенно неприличное рычание.

Предал.

Оскорбил.

И взял с собой другую... будь Кэри мужчиной, она бы вызвала эту другую на поединок...

Как он мог поступить так? Кэри спросит. Она ведь явилась, чтобы спросить. Она заслуживает разговора, потому что... просто заслуживает.

И если он скажет, что любит Лэрдис...

...хвост с силой ударил по балясине, и та захрустела.

Нет, Кэри не станет удерживать. Она... она найдет способ быть счастливой без него.

Первая ступенька оказалась высокой и устойчивой. Кэри подняла левую лапу, и когти, пробив ковровое покрытие, увязли в дереве. Перенеся вес, Кэри поставила рядом правую... ничего страшного в лестнице нет, на двух ногах передвигаться проще, но четыре — много устойчивей.

Она и про себя считала.

Раз... два... и три, и четыре...

Главное, чтобы хвост перила не переломал. Он дергался то вправо, то влево, а с ним дергалась и Кэри. К середине лестницы она достаточно освоилась, чтобы уже не задумываться, куда ставить лапы.

Но все-таки человеком быть проще.

В ее комнату через открытые окна заглядывала осень. И характерные запахи нежилого помещения растворялись во влажном холодном воздухе. Осень принесла ароматы прелой листвы, дождя и утреннего снега, остатки которого таяли на подоконнике.

Все почти так, как Кэри помнит.

Широкая постель, прикрытая габардиновым покрывалом. Башня из подушек под кружевной накидкой, стопка белья на краю кровати. И запах лаванды, вызывающий приступ ярости.

Успокоиться.

Это не Лэрдис, но лишь мешочки с лавандой, которыми экономка перекладывает белье, дабы защитить и от моли, и от затхлости...

Не Лэрдис... Лэрдис не появится в этом доме, который Кэри полагает своим.

А если... быть может, поэтому Брокк и не захотел ее взять? Чтобы не мешала, ни на борту «Янтарной леди», ни позже.

Ничего.

У Кэри собственный дом имеется, наверняка за прошедший год он постарел сильнее, чем за все предыдущие. Ей будет страшно вернуться туда, но...

Она справится.

Встав посреди комнаты — ковер свернули и, натянув чехол из небеленого полотна, убрали к стене, — Кэри вздохнула. В Каменном логе человеческий облик возвращался сам собой, а здесь... Сверр говорил, что все просто, следует лишь расслабиться и...

Мир покачнулся и поплыл. Он плавился и плавил Кэри, лепил ее наново, и снова было больно, но нынешняя боль отличалась от прежней. Глухая и ноющая, сводящая челюсти судорогой, чтобы ни звука не вырвалось. И руки дрожат, упираясь в пол... руки, уже руки, пусть и с полупрозрачными полукружьями когтей, которые держатся до последнего, но все-таки исчезают.

И чешуя на ладонях становится каплями живого железа.

Уходит под кожу.

А кожа, белая, тонкая, покрывается холодной сыпью.

Волосы рассыпаются, прикрывая ее наготу. И Кэри сидит, пытаясь совладать уже с человеческим телом, которое теперь кажется слишком хрупким, ненадежным.

Неустойчивым.

Мир утратил запахи, но прибавил красок.

Кэри встала и, собрав волосы, закрутила жгутом. Закрывает окна. Открыла гардероб, с неудовольствием отметив, что он почти пуст, оставленные платья давно уже вышли из моды, и сей факт не останется незамеченным.

Что ж, она еще успевает заглянуть к Ворту.

«Янтарная леди» причалит лишь завтра... и Кэри встретит ее. Она повернулась к зеркалу и, отбросив длинную белую прядь с лица, улыбнулась.

Улыбка вышла мрачной.

Встретит. И потребует объяснений. А дальше... дальше что-нибудь да сложится. Или наоборот. Но хватит с нее игр и притворства.

К ночи распогодилось. Небо гляделось черным, парчовым, с серебряными искрами звезд. Бляха-луна повисла на шпигеле причальной мачты.

С реки тянуло ветром. И сама она, свинцово-тяжелая, прогнувшись под обузой наспех построенного причала, была близка. Жалась к берегу баржа, увешанная бумажными фонариками, наряженная лентами и оттого казавшаяся Кэри игрушечной. Она глядела на реку, на экипажи, которые оставляли в отдалении, на оркестр и людей, собравшихся на городской окраине встречать дирижабль. И люди в свою очередь рассматривали Кэри, верно, узнавали, шептались, обсуждая последние новости, благо «Сплетник» не уставал ими радовать.

Вернуться бы в экипаж, согреться над печью, но экипажам вменялось держаться за пограничными столбами, дабы не создавать сутолоки. И пожарные четверки, единственные, кому позволили пересечь черту, внушали мысли о том, что полет и вправду небезопасен...

Холодно.

И жутко, от темноты, от толпы, которая виделась Кэри одним уродливым существом, способным в порыве гнева подмять и ее, лишая воли, разума.

Протяжный голос трубы, сорвавшийся на визг, не приносит успокоения. Оркестранты собираются у костра, люди-мотыльки в бледной тонкой форме, в белых плащах, точно сложенных, припорошенных снегом крыльях.

...не стоит думать о плохом.

И спрятать под шубку цветы... с цветами Кэри чувствует себя вовсе глупо. Кому они нужны?

Кому нужна она сама?

— Леди Кэри? — Он вынырнул из темноты, человек в тяжелом драповом пальто, воротник которого был поднят, скрывая в тени лицо. И клетчатый шерстяной шарф укутывал шею. меховая шапка полувоенного образца сидела низко, на самых бровях, и из-под нее поблескивали темные глаза. — Позвольте несколько вопросов?

— Не имею чести быть представленной. — Кэри не нравился человек, а он отмахнулся, точно сказала она сущую глупость.

— Что вы собираетесь делать?

Перчатки он не носил, и кожа побелела от холода, и человек тер ладони, рождая мерзкий шелестящий звук...

...как те жуки, что скреблись в жестянке.

— Не понимаю вашего вопроса.

Кэри оглянулась, убеждаясь, что нет поблизости никого, кто избавил бы ее от неприятного господина.

— Лэрдис... — Человек выдохнул облачко пара, от него разило мятой и еще дешевым ромом. — Как вы относитесь к слухам о романе вашего супруга и Лэрдис?

— Меня учили не обращать внимания на сплетни.

Человек кивнул и шмыгнул носом.

— Следовательно, вы не верите?

— Не верю. — Кэри погладила цветы, спрятанные под шубой.

Не верить. Встретить «Янтарную леди» и Брокка, который наверняка удивится, увидев Кэри здесь. И рассердится из-за портала, будет выговаривать долго, нудно, дергая себя за волосы, а потом обнимет. И нынешняя обида, горько-кислая, как утренний кофе, растает.

Но Кэри все равно задаст неудобный вопрос.

Чтобы быть уверенной.

— Ладно, — как-то спокойно согласился человек, но не ушел. Он стоял рядом, поглядывая то на небо, то на Кэри, которой под этим взглядом становилось неудобно. И она пыталась найти новое место, но пробираться сквозь толпу было тяжело, да и человек не отставал. Он упрямо брел за ней, распихивая зрителей локтями, останавливался так, чтобы Кэри его видела, и шмыгал носом, как-то очень громко, раздражающе. И вновь задирает голову, тогда над шарфом, в ворота пальто, показывалась белесая шея. Человек был болен, и время от времени заходилась сухим лающим кашлем. И Кэри не выдержала.

— Послушайте, — она сама подошла к нему, — что вам от меня надо?

— Ничего.

— Вы меня преследуете!

— Ничуть. — Он вытер нос рукой. — Если хотите пожаловаться полисмену, то дело ваше...

Кэри думала о полиции, но... что она скажет? Что незнакомый человек увязался за ней? Он и вправду не делает ничего плохого, а остальное — игра воображения.

У дам с воображением зачастую нелады.

— О... идет... по расписанию, — с некоторым удивлением в голосе произнес он и, достав из кармана пальто часы, старые, с отломанной крышкой, постучал по циферблату. — Признаться, и не рассчитывал...

Кэри посмотрела вверх.

Черная тень медленно плыла по заснеженному полю. «Янтарная леди» двигалась неторопливо, и в желтом лунном свете обшивка ее отливала серебром.

— Вот это дура! — присвистнул человек, убирая часы. — Идемте, леди, вам, думаю, следует быть в первых рядах.

И подхватив Кэри под локоть, он бодро двинулся сквозь толпу. Он умудрялся проскальзывать между людьми и тащил за собой Кэри, не обращая внимания на вялое ее сопротивление.

— Если уж вы решили мужа встречать...

Он не договорил и остановился у границы — врытых в землю столбиков с натянутой

между ними красной лентой. Слабое препятствие, но за лентой выстроилась цепь полицейских.

Вновь взвыла труба, грохнул барабан, стряхивая ледяное оцепенение. И медные тарелки ударили по нервам дребезжащим звуком.

Человек же, дернув ближайшего констебля за рукав, указал на Кэри.

— У леди муж прибывает... Мастер-оружейник.

И констебль, поклонившись, отступил, признавая за Кэри право оказаться по ту сторону границы. Здесь тоже царил суета, но некая упорядоченная, размеренная. Военный оркестр проверял инструменты, рокотали моторы пожарных установок. От причальной вышки расплзалась по земле пуповина толстого каната. Кэри и странный ее сопровождающий остановились у красной дорожки, вдоль которой расставляли бронзовые стойки с факелами. Пламя кренилось, оседало под порывами ветра, и служители спешили защитить его стеклянными колпаками.

«Янтарная леди» замерла.

Она была огромна и в то же время удивительно изящна, вытянутая, с заостренным носом, веретенообразным телом, которое заканчивалось острыми плавниками хвостового оперения.

— Жуть какая, — пробормотал человек, наклоняясь. Он дышал на руки, пытаясь согреть их, и приплясывал. Кэри заметила, что обувь его была тонкой и изрядно поношенной, впрочем, как и пальто. — Сам бы не видел, не поверил бы... как оно только держится?

— Блау-газ. — Кэри поплотней запахла полы шубки. — Это газ, по плотности сравнимый с воздухом, но куда более теплее. И менее взрывоопасный, чем водород. Брокк сначала думал водород использовать, но при протечке возникала опасность взрыва...

«Янтарная леди» неторопливо разворачивалась, спускаясь ниже. Доносился слабый гул моторов, выкачивающих газ в резервные баллоны. Мелко дрожала, бликуя в лунном свете, обшивка, но формы не меняла, лишь четче проступали под тканью широкие ребра остова.

— А вы хорошо осведомлены, — заметил человек, щурясь.

— Газ нагревается, наполняет баллоны... дирижабль идет вверх. Газ остывает, и... все просто.

На словах.

Есть сложнейший механизм тепловой установки, тонкие патрубки, оплетающие двигатели, потому как их тепло не должно пропадать втуне. И полдюжины кристаллов средней мощности, поддерживающих температуру... есть паровая печь, что обогревает гондолу. И керосиновый двигатель Инголфа, приводящий в движение массивные хвостовые винты.

Есть каркас, прочный и легкий.

И тончайший шелк, поверх которого развернулась еще более тонкая пленка силы... и руны энергетических контуров вспыхивают, отражая лунный свет. Есть полевой оптограф, совмещенный с системой управления, и сама она, одновременно простая в использовании, но в то же время сложная, гондола с каютами и грузовым отсеком...

Беззвучно развернулись гайдтропы, повисли на ветру нитями осенней паутины, и причальная команда спешно бросилась ловить.

Уже недолго.

Сердце стучало оглушительно, и Кэри, позабыв про все обиды, а заодно и про странного человека, который все еще держался рядом, шагнула на ковровую дорожку.

Натянулись канаты, привязывая «Янтарную леди» к мачте.

Уже недолго.

Она знала, что недолго, но показалось — вечность. И снег начался, белый, легкий, он плясал в воздухе, касался раскаленного стекла и таял. Снежинки оседали на черном драпе, и воротник пальто заиндевел. Они же путались в длинном ворсе шубки Кэри и заметали дорожку.

Играл оркестр.

И аэронавты спускались на землю. Кэри заставляла себя стоять, пусть бы ей хотелось подхватив юбки броситься навстречу, но...

На них смотрят.

На белые кители команды... Брокк говорил, что форма будет утверждена.

На темные одежды пассажиров... один... и два... и пятеро уже. Брокка среди них нет. Кэри не в силах разглядеть лиц, но Брокка среди них нет. Он спустится последним, оттягивая расставание с воздушным кораблем.

И Лэрдис не видно... никого в платье...

— Ближе? — Угадав ее желание, человек подал руку, и Кэри оперлась.

Ближе.

У самой у нее смелости не хватит. Она вдруг теряется на поле, освещенном факелами, заполненном людьми, в шелесте огня и громе оркестровых труб. И дорожка — матерчатая тропа, каждый шаг по которой дается с трудом.

Ближе... еще ближе.

У причальной мачты распускаются белые шары газовых фонарей. И свет их, отраженный стальной обшивкой, слепит. Кэри моргает часто, трет глаза, но спохватывается, что жест этот полудетский нелеп.

Идет.

И отстраняется, пропуская людей, которые, ступив на землю, все равно покачиваются... от них пахнет ромом... и виски... и еще ванилью.

— ...все-таки дилижанс надежней как-то...

Обрывки фраз, чужие голоса заставляют попятиться, но сопровождающий Кэри не позволяет ей сбежать.

Капитан раскланивается, они были представлены друг другу, и Кэри останавливается ненадолго, чтобы ответить ему вежливым поклоном.

И дальше... К подножию мачты, обледеневшей, пусть лед и тает, покрывая сталь россыпью капель.

Брокк спускался не последним — предпоследним. И спрыгнув на землю, он подал руку спутнику... спутнице.

Мужской наряд ей был к лицу. Темные гетры. Зауженный в талии китель винного оттенка, украшенный крупными золотыми пуговицами. Ветер играл с шелковым шарфом и вытягивал из-под шляпки золотые локоны Лэрдис...

— Интер-р-ресненько... — услышала Кэри, — вы по-прежнему не верите слухам?

Она не знала, что ответить.

Она не хотела отвечать, не хотела быть здесь. Видеть их вдвоем, и... все равно смотрела.

Ее рука в его ладони. И пальцы мягко обхватывают ее.

Шаг.

Лэрдис покачнулась, но упасть ей Брокк не позволил. Удержал. Наклонился, спрашивая

что-то... слов не разобрать, и Кэри счастлива, что не способна услышать... сердце и без того вот-вот разорвется.

Больно.

Она не представляла, что может быть настолько больно... даже Сверр не способен был причинить подобной боли.

Лэрдис улыбается.

— Мне жаль, — как-то виновато произнес человек, хотя его вины в происходящем точно не было.

А их заметили, пусть и не сразу. Вздогнула Лэрдис, вцепившись в руку Брокка, точно опасаясь, что эта рука вдруг исчезнет. А сам он...

— Извини. — Кэри нашла в себе силы улыбнуться. — Мне подумалось, что ты рад будешь меня видеть.

Он ничего не говорил. Хорошо. Иначе она бы сорвалась.

И накричала.

А прилюдные скандалы — пошлость невероятнейшая...

— Это тебе...

Несчастные цикламены измялись, и лепестки падают на землю, а Кэри поспешно отступает. Она не будет лишней... глупо было надеяться... не стоило сюда приходить и... объяснение?

Какие еще нужны объяснения?

Стоит ли притворяться, что Кэри ничего не поняла.

— Кэри...

— Я... — Она пятилась, думая лишь об одном — не споткнуться. Это было бы вовсе глупо... споткнуться и упасть на глазах у всех. — Я рада, что полет прошел хорошо... я действительно рада...

Она все же развернулась.

Леди не бегают?

Пожалуй. Они очень быстро ходят...

Третьи сутки на ногах.

И грозовой фронт, прошедший низом. Тропы молний, на доли мгновения прораставшие в черной пряже туч. Запоздалый удар ветра, от которого гондола покачнулась, затрещала.

Острые пики гор.

Глотка Перевала и белесые костяные стены Гримхольда, который вырос на прежнем месте. Белое же лицо капитана, вцепившегося в штурвал. Он не сводил взгляда с пустоты, разверзшейся под ногами.

Птичья тень.

И глухой удар, на который кто-то отозвался всхлипом. Страх, такой явный, заразительный. И пьяная общая радость, когда позади остались и опоры воздушного моста, и металлическая паутина его с застрявшими в ней мухами вагонеток. Рассвет за стеклом, под стеклом, когда солнце медленно выкатывается, наполняя салон гондолы алым пламенем. И люди, позабыв о страхе, протягивают руки, собирая огонь горстями.

Пьют.

Смеются. Хлопают друг друга по плечу, поздравляя, хотя Брокк и не понимает, с чем поздравляют. Инголф и тот утрачивает обычную свою презрительную отрешенность.

— Красиво. — Он смотрит не на солнце — на пассажиров, подмечая и бледного репортера, позабывшего о воздушной болезни, спешащего запечатлеть яркие, свежие пока ощущения. И финансиста, что пытается остаться невозмутимым. Инженеров... оптографиста, он сонно трет слипшиеся глаза. Удивительно спокойный человек, продремавший всю грозу.

Лакированные горы, с высоты казавшиеся игрушечными. И широкое русло Тароссы. Покрывала полей и зелень леса, к которому «Янтарная леди» спустилась. Заминка с машиной, и тяжелый запах керосина, что повис в салоне, заставляя морщиться даже людей. Инголф, деловито избавившийся от пиджака и жилета. Он остался в белоснежной, некогда накрахмаленной, но за ночь потерявшей былой вид рубашке. Подтяжки поправил и, откинув узкую дверцу, пробормотал:

— Не могли проход пошире оставить? Скажите, пусть заглушат мотор.

Тяжелый рокот, к которому и Брокк, и пассажиры успели привыкнуть за время полета, смолк. Воцарившаяся тишина воистину показалась оглушающей.

— Мы упадем? — Побледневшая Лэрдис привстала и, печально улыбнувшись, села на диванчик. Она не пыталась больше заговаривать и теперь нарушила молчаливое перемирие, установившееся за ночь.

— Нет.

Инголф не возвращается долго, а ветер относит «Янтарную леди» к югу. К счастью, этот ветер не настолько силен, чтобы причинить вред, и люди, убедившись, что падасть дирижабль не собирается, заговаривают о завтраке. Они бледны, не в меру суетливы и все же счастливы. И стюард разносит еду, разогретую на патрубках паровой печи.

— Вынужден признать, — бледный репортер решается пересесть. Он встает, держась обеими руками за диванчик, и делает шаг. Замирает. Сглатывает. И делает второй. Человек идет на полусогнутых ногах, покачиваясь. — Что ощущения этот полет оставит незабываемые. Вы позволите, мастер?

— Присаживайтесь. Вам стоит поесть...

— Пожалуй, воздержусь. — Бледное лицо становится еще более бледным. От человека тянет характерной кислотой, и, значит, вчера ему все-таки стало дурно. — Скажите, а если не удастся починить мотор? Мы...

Он бросил взгляд на иллюминатор.

— Мы запустим дублирующий.

— А... если и он?

— Еще сутки «Янтарная леди» продержится в воздухе. Нас снесет ветром. И да, спустя пару часов мы начнем снижаться. Очень медленно. Поэтому, полагаю, как только капитан обнаружит подходящее для экстренной посадки поле, он выпустит лишний газ. И мы сядем. Волноваться не о чем. Упасть она не способна...

— Она...

Репортер прижал к губам измятый платок.

— «Янтарная леди»... романтичное название, мастер. Не объясните ли...

Промолчал бы, но Лэрдис, поглядывая искоса, перебирает звенья цепочки, с которой свисают янтарные кабошоны.

— У моей жены глаза цвета янтаря.

— Жены? — Он мнет платок, но скептицизма не скрывает.

— Жены, — подтвердил Брокк. — У меня замечательная жена...

...которая осталась на земле, пусть бы и заслужила этот полет больше, чем кто бы то ни было.

Ее дирижабль, нарисованный акварелью на белом листе, такой, каким Брокк его себе представлял, пусть и видел иначе, формулами, строгостью чернильных линий, тонких и толстых, распятым на трехмерной крестовине чертежей.

Запах керосина сделался отчетливей.

Нужна ли помощь?

Кому другому Брокк помог бы без спроса, но Инголфа он не желал оскорбить самим этим предложением. Справится.

Репортер чихнул и задышал чаще, он хватал пропахший керосином воздух ртом. Вспомнились вдруг огромные карпы, которых разводили в прудах за городом. Над прудами построили ажурные мостики, и карпы, поднимаясь к поверхности воды, следили за гуляющими. Кэри еще шепотом спросила, не выпрыгнут ли... карпы были древними и огромными, покрытыми чешуей-черепицей.

— Значит, в честь жены... — Репортер покосился на Лэрдис, которая сидела прямо, глядя на собеседника. А финансист, отчаянно сражавшийся с испариной, что-то тихо ей говорил.

Он человек и богат, но... когда Лэрдис привлекало богатство? Для нее все — игра: и полет, и дирижабль, и сам Брокк. Ковровая охота, в которой она себе не откажет.

Просить о пощаде бесполезно.

И что остается?

— Моя жена вложила немало труда в этот корабль. — Брокк с нежностью провел по спинке диванчика ладонью. — Имя — это меньшее, что я мог подарить ей...

Только кому это интересно?

И кто поверит Брокку?

Инголф выбрался в гондолу и, попытавшись вытереть руки, которые по локти были в

масле, буркнул:

— Запускай.

Он тер и тер ладони, но лишь размазывал масло, которое пропитало и рукава рубашки.

— Протечка... уже нет... проветрить бы тут, а то задохнемся.

Репортер уступил место на низком диванчике, но садиться Ингольф не стал, стянув рубашку, он вытер ею руки, и шею, и волосы, которые утратили блеск, но обрели характерную маслянистую желтизну.

— Проклятье, ощущение, что я искупался в чане с этой дрянью. — Он долго тер голову, с каждой секундой раздражаясь все больше. — Ванны здесь, конечно, нет?

Подали кувшин с водой и таз.

— Она не рассчитана на столь дальние перелеты...

...и запас керосина должен был быть выработан на две трети, если не больше.

— Понимаю... ненавижу, когда шкура липкая... леди, если вас что-то не устраивает, отвернитесь. — Ингольф оскалился, и Лэрдис отвела взгляд. — Не люблю женщин, которые полагают себя центром мироздания... впрочем, и мужчин тоже.

Он сказал это достаточно громко, чтобы быть услышанным.

— Что вы, господин Ингольф, — тотчас отозвался инженер, — госпожа Лэрдис своим присутствием украсила полет...

— Из украшений я предпочитаю цветы.

Ингольф отмывался долго, раздраженно фыркая и пытаясь унять живое железо, которое проступало то на шее, то на плечах, покрывая кожу даже не рябью — плотной темной чешуей.

Был долгий день, когда время замерло, и стрелки на почерневших, словно покрытых окалиной часах застыли. И Брокк, разглядывая эти часы, вспоминал ярмарку, цветные шатры и широкие прилавки, ряды со сладостями и лентами, пуговицами всех цветов и размеров, шкатулками из кости и янтаря, красного, живого бука и дерева обыкновенного, но выкрашенного травяными отварами... всегда найдется кто-то, кому легко продать подделку.

И на этой ярмарке Кэри нашла часы, а еще деревянного пса, вырезанного столь умело, что казался он едва ли не живым.

...белое блюдо, которое расписала старуха, она сидела на платке, подогнув ноги, и на коленях ее стояли дощечки, а на дощечках — глиняные плоски с красками. Рисовала старуха пальцами, и это само по себе казалось волшебством. Кэри же, взяв Брокка за руку, прижавшись к плечу, смотрела, как распускаются на белом фаянсе цветы.

И блюдо несла бережно.

Это блюдо было ей дороже всего заводского фарфора...

...она замолчит. Закроется обидой.

И будет права.

Брокк потер глаза, которые горели.

— Выпей. — Лэрдис подала высокую кружку. — Ты ничего не ел...

От сытости потянет в сон, и объективных причин не спать у Брокка нет, но... страшно закрыть глаза, кажется, стоит на миг расслабиться, и произойдет непоправимое.

Уже произошло.

— Выпей, — повторила Лэрдис, вкладывая кружку в руки. — И успокойся. Я поняла, что ты мне больше не рад.

— Прости, но...

— Не прошу. — Она присела рядом. — Но пойму. И не стоит переживать, я не собираюсь докучать тебе. В конце концов, мужчина, пытающийся завоевать женщину, — это нормально. А вот женщина, которая, позабыв о гордости, бежит за мужчиной, — это... смешно. А я ненавижу быть смешной.

В кружке оказался кофе, крепкий, едва ли не до черноты.

— Если я скажу, — Лэрдис смотрела мимо него, в окно, за которым не было ничего, помимо бескрайней дикой синевы, — что сожалею о нашем расставании. И о том разговоре, ты поверишь?

— Нет.

— Правильно. Не следует верить женщине. Мы слишком непостоянны. А когда кажемся иными, то... это лишь часть игры. К слову, я рада, что решилась.

— На что?

— На полет. — Она поднялась и, прикрыв рот ладонью, сказала: — Но все-таки он утомителен. Не проводишь до каюты?

Нет.

И да. Ему придется играть в гостеприимного хозяина по нотам приличий, нарушить которые здесь и сейчас невыносимо. В узком коридоре Лэрдис зябко поводит плечами.

— Полагаю, просить тебя помочь с одеждой не следует?

— Не следует.

— Жаль. — Она накрыла ручку двери ладонью. — Когда-то ты весьма ловко с ней управлялся, но иди, не смею задерживать. Я угадала, отказавшись от корсета, а с остальным как-нибудь справлюсь.

Следовало уйти, но Брокк медлил.

Любит ли он ее?

Помнит, да. Ее сложно забыть, она — осколок металла, что вошел в сердце и пробил насквозь. Остался, зарос живым, и сердце бьется, работает, но осколок не исчез.

— Уходи, — шепотом произнесла она, потянувшись к лицу. — Уходи, пока я еще согласна тебя отпустить.

В тени коридора Лэрдис выглядит старше. Она потускнела, и Брокку хочется коснуться волос, убедиться, что и вправду утратили они позолоту, провести пальцами по щеке, влажной, утомленной, стирая пудру, ту самую, с тонким ароматом лаванды.

Вернуться в прошлое.

Вернуть.

Навсегда и... вместе до самой смерти, чтобы в один день...

И будь что будет.

...не будет ничего, кроме пустоты.

— Уходи. — Она сама касается его. Пальцы замирают на висках, дрожат, словно Лэрдис замерзает. И запах, сладкий, нежный запах... — Я не хочу тебя отпускать...

...снова игра, но на сей раз без него.

— Прости.

Он отступает, разрывая прикосновение. Отступить, оказывается, просто. Сожаления нет. И раздражения тоже. Обида и та ушла, расплавился железный осколок, освобождая.

Эта женщина была чужой.

Она улыбается, виновато и растерянно, сама не в силах поверить, что он, Брокк, и вправду готов уйти. И протянутая рука, замершая в воздухе, падает, теряясь в складках

пышной юбки.

— Наверное, это правильно. — Ее плечи поникают. — У тебя своя жизнь... и смешно было бы ждать иного. Ты и без того дал мне многое...

— У тебя своя жизнь... — Его слова — лишь эхо сказанного Лэрдис.

— В ней не осталось ничего. — Она сама пятится, спиной касается двери и руки прячет. Выглядит растерянной и... жалкой? — Если бы ты знал... впрочем, хорошо, что не знаешь. Жалость унижает.

— Понимаю.

Затянувшийся разговор. Струна из слов, которой давным-давно следовало бы разорваться, и все-таки разрыв этот пугает неотвратимостью. «Янтарная леди» дрожит, дрожь ее передается Лэрдис.

— Я смешна?

— Нет.

— Смешна... и твой друг это видит.

— Ингольф? Он мне не друг.

— Не важно... я могу притворяться сильной... и равнодушной... я ведь хорошо умею притворяться, если ты помнишь, конечно.

— Помню.

...знает. И почти восхищается новой ролью, которая наверняка дается Лэрдис немалым трудом.

— Порой я сама забываю, где я настоящая... потом вспоминаю, конечно. Или мне лишь кажется, что вспоминаю... и думая о нас, я... я ошибалась, но некоторые ошибки нельзя исправить, верно?

— Пожалуй.

— Иди уже... не заставляй меня передумать.

Идет. И струна натягивается до предела, она рвется беззвучно, но еще болезненно, и Брокк, отведя взгляд, сбегает. Ему немного стыдно и за свой побег, и за облегчение, которое он испытывает. Все, что должно было быть сказано, они сказали.

...он сказал. Но был ли услышан?

Брокк все-таки, наверное, придремал, потому как, очнувшись от прикосновения стюарда, увидел потемневшие окна. И долго не мог понять, о чем говорит человек, а он как назло разговаривал шепотом.

Город в двух часа ходу?

«Янтарная леди» идет по ветру? И с хорошей скоростью?

На капитанском мостике подали крепкий кофе, от которого в голове слегка прояснилось, и Брокк, устроившись в низком кресле,пил медленно, тер одеревеневшую шею, разминал руки, которые болели обе и одинаковой тянущей болью. А под ногами сгущалась темнота. Она подбиралась вплотную, но отступала перед огнями кормовых фонарей. И носовой, мощный, пробивал сгустившийся воздух.

Город лежал на холмах, рассеченный клинком реки, неравномерный и уродливый. Расползлась язва Нижнего города, черная, грязная, со струпьями заводов и фабрик, окутанная желтым дымом, будто гноем. И веером расступались улицы Верхнего.

Камень.

И снег, который кружил, оседая на окнах.

Уже скоро.

Приглушенный рокот мотора. Винты останавливаются, и «Янтарная леди» плывет по ветру, голос которого слышен Брокку.

Вот и поле... серая игла мачты, соединившая небо с землей. Огни, газовые фонари и, кажется, факелы... снова толпа... а Брокк устал. Он просто безумно устал и хочет домой. Правда, городской дом пуст, а сил на то, чтобы шагнуть по ту сторону гор, не хватит. Впрочем, если и хватит, то с такой головой он просто завалит контур портала, и... отдохнет немного и вернется.

Домой.

На рассвете, когда Кэри еще спит. Войдет на цыпочках, присядет на край кровати и, взяв ее за руку, проведет теплыми расслабленными пальцами по своей щеке. А когда она сонно откроет глаза, скажет:

— Здравствуй. Я вернулся.

И она, быть может, улыбнется. Тогда Брокк поймет, что у него еще осталась надежда.

Лишь бы не было слишком поздно.

Было.

Он всегда спускался последним, но не в этот раз. Осталась дежурная команда. И стюард спешил погасить огни в кают-компании, собирал пустые чашки и бутылки, которых было как-то очень уж много. Мятый платок, забытую перчатку...

Лэрдис ждала у трапа, мелко дрожа, но упрямо глядя в темноту. И сжимала кулаки в мужских перчатках. Боялась? И справляясь со страхом, надела нелепый этот наряд. Очередной вызов, о котором напишут в газетах... не только о нем.

— Поможешь спуститься? — тихо спросила Лэрдис, когда ветер прорвался в черный зев выхода. — Или мы настолько чужие, что...

— Я пойду первым. — Брокк подал руку. — Ты следом. Бояться не стоит, здесь лестница находится внутри мачты, поэтому ветер не страшен. Пролеты освещены. Есть площадки. Почувствуешь, что устала, скажи, будем отдыхать.

— Спасибо.

— Главное, вниз не смотри...

— Брокк... — она больше не пробовала прикоснуться. — Мне не следовало лететь, верно?

— Не следовало, — согласился он.

Он слышал эхо ее дыхания в стальной полой спице, за стенами которой метался ветер, неощутимый, но близкий, заставлявший стены вибрировать и прижиматься к стальной же лестнице.

Нужно строить подъемник.

Для грузов.

И для пассажиров... пассажиры будут. По оптографу передали, что билеты на следующий полет все раскуплены, равно как и места в грузовом отсеке.

Развлечение?

Пускай. Когда-нибудь воздушные пути станут столь же обыденны, как и наземные.

Последняя секция была открытой, и Брокк прыгнул на землю, с удовольствием отметив, что земля под ногами не спешит раскачиваться. Он отступил, подав руку Лэрдис, и та приняла помощь.

— Жила предвечная, — сказала она, цепляясь за его пальцы. — Я на земле... я снова на земле... поверить не могу.

— Не раскачивается?

— Точно, не раскачивается, а главное, что нет ощущения пустоты под ногами... я не знала, что боюсь высоты, и... лучше бы ты придумал что-то, что быстро ездит, но по земле.

— С этим — к Инголфу.

— Он самовлюбленный хам... — Лэрдис все же покачнулась, но устояла, наклонилась, коснулась щеки. — Надо же... снег идет... мне нравится зима. Спасибо.

— Пожалуйста.

Он обернулся и...

Кэри стояла меж двух фонарей. Белая в белом свете. Зимняя, снегом окутанная... родная.

Чужая.

— Извини. — Тихий голос, погасшие глаза. — Мне подумалось, что ты рад будешь меня видеть. Это тебе...

Она протянула букет измятых цикламенов, сунула его едва ли не силой. И отступила.

Отступала, шаг за шагом отдаляясь.

— Кэри...

Надо что-то сказать, остановить. Удержать.

Попросить остаться.

Объяснить все, но Брокк молчал.

— Я... — она пятилась, улыбаясь неловкой несчастной улыбкой, — я рада, что полет прошел хорошо... я действительно рада...

И когда все же развернулась, Брокк отчетливо понял — уходит.

Все близкие рано или поздно уходили, но... Кэри он сам прогнал.

— Мне жаль. — Лэрдис не выглядела огорченной, к ней как-то очень быстро вернулась прежняя маска.

Проклятье!

Брокк ступил на дорожку.

Факелы. Огонь. Люди какие-то, которых не должно быть. Его останавливают, пытаются. Вопросы задают, хватают за руки, привлекая внимание, вновь суют цветы, словно он, Брокк, девица... и вскоре он с трудом удерживает охапку.

Оркестр.

Музыка и репортеры, желавшие знать подробности...

А Кэри нет.

Ушла.

И догнать не получилось, потому что плохо старался. Он, Брокк, наивно рассчитывал, что у них целая жизнь впереди, и что такое год? Упущенное время, у себя же украденное. Множество дней, хороших дней, которые могли бы стать иными. Слов несказанных. Несделанных вещей... и увязнув в толпе, Брокк вдруг осознал, что сорвется. Еще немного и...

— Мастер, — высокая фигура гвардейца заступила путь, — его величество желают вас видеть. Немедленно.

Окно портала избавило от толпы.

— Это мне? — Стальной Король принял букеты. — Признаюсь, польщен. Мне никогда прежде цветов не дарили...

Цикламены, фарфоровые и хрупкие. Измятые. Безнадёжно испорченные, как его, Брокка, семейная жизнь...

— Пей. — Король вложил в руку кубок.

И Брокк выпил.

Горячее вино со специями подарило тепло, хотя Брокк и не осознавал, что замерз.

— Садись куда-нибудь... покоритель неба. Как тебе титул?

— Отвратительно, — честно признался Брокк. — Небо нельзя покорить... и океан...

— И огонь?

Брокк повернулся к камину.

— И огонь... пленить, заточить... убить — можно. А покорить нельзя. — Он шагнул к огню, замороженный. Рыжекрылый феникс в каменном гнезде.

— Ты по-прежнему уверен, что взрывы продолжатся.

— Прилив.

— Я читал твой доклад. Поэтому мы сейчас и беседуем. — Стальной Король в цветах смотрелся довольно-таки нелепо. — И да, я слышу голос огня. А ты? Не отвечай, я вижу.

Феникс поднимался, пытаясь взмахнуть крыльями, и Брокк протянул ему руку, чтобы поддержать. Пламя коснулось перчатки, и запахло паленой кожей, но боли не было.

И живое железо наполнило ладонь.

— Все слышат. И кому-то будет сложно удержаться...

— Олаф...

— Останется в городе, — жестко ответил Стальной Король, вытащив тигровую лилию. Рыжий пламенный зев с черными точками ожогов, и пыльца на пальцах словно след огня. — Как и все, кто причастен к прошлогодней истории.

— Город надо...

— Эвакуировать? Как ты себе это представляешь? Больше миллиона жителей... куда? За Перевал? Из-за теоретической возможности прорыва? Что будет, если ты ошибаешься?

— А что будет, — Брокк смотрел, как живое железо впивается в кожу, — если я прав?

Огонь расползлся по ладони, стекая с пальцев, обвивая.

Шелковое пламя.

Нежное.

А Король, разглядывая лилию, отвечать не спешит.

— Что ж, — он отпускает цветок, позволяя ему упасть на ковер. И пыльца оседает на белой шерсти. — Если ты прав, то... придется сложно.

— Кому?

— Всем. — Он поднимается, опираясь на тяжелый резной подлокотник. И пальцы впиваются в дерево так, что дерево трещит. — Ты же сам ставил сценарий. Верхний город просядет...

...щиты, которые будут поставлены, сметет приливной волной.

...жила прорвется, и живая кровь земли, раскаленная, согретая сердцем мира, хлынет в древние катакомбы. Она столкнется с рекой, и вода вскипит, превращая город в один паровой котел. Камень, не выдержав напряжения, расколется. Он будет крошиться, кипеть, наполняя лаву кремниевыми осколками.

Река выйдет из берегов: что кипящая вода, что пламя.

Устремится по улицам.

И жар иссушит остатки зелени, с хрустом просядет земля, и дома рассыплются, словно

песчаные фигуры на пляже.

Люди...

— Нижний затопит. Возможно, уцелеют окраины. И старые особняки... — Король перешагнул через лилию, рыжее пятно на белом ковре. — Человеческие особняки.

Он остановился у камина и в свою очередь протянул ладонь. Пламя отозвалось, сплело тонкий хлыст, пытаясь поймать королевские пальцы. Коснулось кружева, опалило ткань, и Король чихнул.

— Погибнут тысячи...

— Сотни тысяч, — поправил Стальной Король. — Сотни тысяч людей... и не только их.

— О людях вы не беспокоитесь?

— Опасный вопрос, мастер, но беспокоюсь, они тоже мои подданные. И мне крайне не хотелось бы терять их... подобным образом.

— Но меж тем вы не собираетесь предупредить их об опасности?

— И вызвать панику? А паника приведет к хаосу. Ты сумеешь призвать к порядку обезумевший город? Я — вряд ли.

Молчание, и пламя, сорвавшись с королевской ладони, прячется под покровом углей, оно шепчет о том, что уже скоро станет свободно.

— Мне следует молчать?

— Верно, мастер. Превентивный побег лишен смысла, — наконец произнес Король. — Но это не значит, что мы вовсе не примем мер... к слову, ты не слишком устал?

Устал, но не настолько, чтобы не выслушать Короля.

— Хорошо. Будем считать, что ты бодр и полон сил. — Король фыркнул и щелчком сбил с рукава упрямую искру. — Еще летом пансион ее величества для благородных девиц переведен в Аль-Хайар... матушке показалось, что девочкам будет полезно ознакомиться с особенностями архитектуры альвов... естественно, и Пажеский корпус отправился следом... академия... и младшие курсы псарни... кое-кто из старших. Дети требуют присмотра.

Аль-Хайар, белый город.

Мертвый город, осиротевший с уходом альвов. Запретный храм и костяная вязь Летнего дворца, выращенного мастером, равных которому не было... и уже не будет.

— После Перелома ее величество покинут город, отправятся на воды...

— Зимой?

— В живые рощи зима не заглядывает, а ее величеству следует поправить здоровье...

— Я вполне здорова, муж мой. — Она вошла в кабинет и, оглядевшись, кивнула Брокку. Альгрид из рода Холодного Рубидия.

— Не спорь.

— Не буду, — ответила она улыбкой на улыбку.

Некрасивая, пожалуй. Настолько некрасивая, что сама по себе эта некрасивость выглядит привлекательной. Слишком резкие черты лица, скулы заостренные, тонкий горбатый нос с резными ноздрями, высокий лоб и темные, точно углем нарисованные брови.

— Решено то, что решено. — Она опустилась в кресло, и Король встал за ее спиной, положив руки на покатые плечи. — Мы ведь уедем ненадолго, верно? И, мастер, я все-таки надеюсь, что вы ошибаетесь. Но если нет, то...

Руки ее были крупными и лишенными всякого изящества. С круглыми ладонями, с длинными, но полными пальцами.

— Мы сохраним то, что можно сохранить, — сказала Альгрид, разглядывая Брокку. И во

взгляде ее, не по-женски прямо, открыто, не было раздражения, но лишь любопытство.

Дети.

Подростки. И надо полагать, наследники основных родов, которые сумеют удержать власть. Сын Короля... АльGRID.

— Вице-король, как меня убедили, достаточно силен, чтобы не допустить войны. — Она провела ладонью по косе. Волосы цвета латуни. И металлический же блеск синих глаз. — И достаточно благороден, чтобы мы с сыном чувствовали себя в безопасности.

От Брокка ждут ответа и обещания молчать.

— Я не знал, что за Перевалом появился вице-король.

— Пока нет. — Король наклонился к АльGRID, не поцеловал, но лишь коснулся губами ее волос. — Но появится. Скоро. Один поймет, что должен сделать, правда, захочет остаться. Многие остаются, хотя далеко не все — добровольно.

Уйдут дети.

Женщины. И те, кто слишком слаб, чтобы быть полезным. Останутся вожаки, и... быть может, совокупной их силы хватит, чтобы сдержать разъяренный взрывной волной прилив.

...щиты.

...их сметет ударом, но все же они ослабят волну, пусть и ненамного, но порой хватает малости.

— Я успокоил тебя, мастер?

— Да. Я... буду молчать.

— Замечательно. Я рад, что мы правильно поняли друг друга. — Король взял жену за руку, и взгляд ее... у Брокка сердце сжалось. Не так давно на него смотрели так же.

А теперь?

Кэри уйдет, если уже не ушла... в городе небезопасно...

— Я объявлю о назначении на балу в честь Перелома. Надеюсь, ты почтишь меня своим присутствием?

— Разве я могу вам отказать?

— Не можешь, — легко согласился Король. — Ни ты, ни твоя милая супруга... и еще, Брокк, я, по возможности, стараюсь не лезть в дела личные, но ты ведь чувствуешь прилив. И лучше чем кто бы то ни было представляешь, чем он может обернуться.

АльGRID сжимает руку мужа.

— Мне бы не хотелось, чтобы род твой на тебе прервался.

От него не ждут ответа, и Брокк молчит. Усталость и вино берут свое. Он смотрит на Короля, на королеву, которая появилась вдруг из ниоткуда, некрасивая, но слишком яркая, чтобы ее могли просто не заметить. На них, связанных друг с другом и живым железом, и рождением сына, и чувством, которое Стальной Король почитал смешным, не стоящим внимания.

Изменился ли он?

Огонь плодит тени, а тени меняют выражение лица, пусть и королевского, смягчая черты...

...он выглядит почти здоровым.

Счастливым, пожалуй.

И Брокк впервые поймал себя на том, что завидует Королю.

Он не спал, он закрыл глаза лишь на секунду, но секунда, похоже, тянулась слишком долго. И когда Брокк глаза открыл, то обнаружил, что АльGRID исчезла, а в кресле напротив

сидит Король. Он снял куртку, оставшись в рубашке. Закатал рукава, развязал шейный платок, и Брокку было немного неудобно видеть Короля таким домашним, пожалуй.

— Долго я? — Голос спросонья звучал хрипло, ломко.

— Не так чтобы очень долго. — Король держал в руке бокал на длинной ножке. Темное стекло, хрупкое, и темное же вино, которое он не торопится пить. — Но я решил, что лучше тебя не трогать. Голоден?

Не дожидаясь ответа, Король потянулся к колокольчику.

Ужин подали на двоих.

— Мне... пожалуй, стоит вернуться. — Брокк стряхнул оцепенение.

Низкий столик на колесах. Черный королевский фарфор и столовое серебро, которое вовсе не серебро, но сталь. Ваза... цветы исчезли, и хорошо, их запах раздражал Брокка. Зато появилась серебряная оленья голова, рога которой украшали свечи.

— Тебе стоит нормально поесть. Или полагаешь, что ужин со мной дурно скажется на твоей репутации?

Король зажигал свечу за свечой. Пламя легко отзывалось на прикосновения его, и ониксовые глаза оленя оживали.

— У меня несмешные шутки?

— Скорее уж я утратил способность шутки понимать. — Брокк сел.

Голова была тяжелой, короткий сон не принес отдыха, но лишь усилил усталость. Глаза горели, а желудок сводило судорогой.

Сколько он не ел?

— Прощу. — Король расправил льняную салфетку с монограммой. — Не стесняйся. И заодно уж договорим. Кстати, настоятельно рекомендую пироги с ягнячьими мозгами... и перепелки сегодня хороши, но перепелку сложно испортить. Бульон выпей...

— Вы останетесь?

Неудобный вопрос, но Стальной Король отвечает сразу:

— Останусь. Хочешь сказать, что это неразумно?

Хочет, но не скажет. Наверняка находились иные советники, куда более достойные.

— Я был бы плохим королем, если бы отступал. Я сделаю все, чтобы выжила моя семья... другие семьи...

— Не человеческие.

— Да, мастер, не человеческие. — Король смотрит на свечи, и в светлых его глазах отражаются десятки огней. — Спрашивай, ты не умеешь молчать. Даже когда молчишь, то молчание получается... чересчур выразительным.

— «Странник».

— Сначала доешь.

Перепелки, которые и вправду сложно испортить. И пироги с мозгами... не так и плохо на вкус, как оно звучит. Седло барашка в клюквенном соусе... стерлядь с черным сыром...

Брокк ест. Король ждет, вертит в пальцах все тот же бокал и к вину не притрагивается. А потом, оставив, велит:

— Идем. — Стальной Король все еще пользуется тростью, однако хромота его едва заметна, да и сама трость — Брокк понимает это внутренним чутьем — является скорее данью привычке, нежели необходимостью. — Огонь возьми.

И оленья голова, неудобная, тяжелая, оказывается в руках Брокка. Король подходит к гобелену, на котором загнанный тур, накренив могучую голову, готов встречать охотников. И

кольцо стальных псов, отрезав зверю путь к побегу, все же не спешит сжиматься.

Старая картина.

И старый дворец, строго хранящий тайны. Одна из них встречает Брокка запахом сырого камня и древнего, источенного дерева. Лестница ведет вниз, ступеньки ее круты и высоки. Сполохи огня скользят по неровным стенам. Широкие балки вырастают из камня, словно сдерживая его, желаящего сомкнуться, раздавить наглицов, что дерзнули заглянуть на изнанку дворца.

Ниже.

И еще ниже. Гулкие шаги. И мягкое касание трости, которая отсчитывает ступеньку за ступенькой. Спуск бесконечен, и все-таки Король останавливается.

— Надеюсь, нет нужды повторять, что ты ничего не видел, мастер?

Брокк кланяется. Он будет молчать.

Дверь. И высокий порог, белый свет газовых фонарей, которые вырастают из стен через каждые два шага. Слепят.

Дышать тяжело.

Протяжно гудит мотор, прокачивая воздух сквозь узкие трубы воздуховодов. Мерцают пленки силовых коконов.

— Некогда здесь были подвалы. Королевская тюрьма для... особых узников, которых нельзя было отправить в тюрьму обыкновенную. Мрачноватое место... давно уже не использовалось. И когда встал вопрос о том, где работать со «Странником»...

...он стоял на постаменте. Почерневший полусгнивший корабль, разобранный на части. Вдоль стены вытянулись останки мачт. И лохмотья парусов повисли на камне гнилыми гобеленами. Остов, деревянный, сохранивший отчего-то цвет белый, костяной и тем выделявшийся среди черноты. Трехзубый якорь...

— Обрати внимание. — Король остановился у массивного железного зверя, длинноствольного, заросшего коростой ржавчины. Рядом возвышалась гора из чугунных шаров. — Это, судя по всему, оружие...

— Огнестрельное оружие, — уточнил господин в грязных миткалевых штанах и тапочках на босу ногу. Его рубашка, тоже не отличавшаяся чистотой, была расстегнута, а подтяжки съехали на локти, и господин держал руки согнутыми, словно опасаясь, что если опустит их, то останется без штанов.

— Мастер, познакомься. Это Вигдор, отец моей дорогой супруги...

— Огнестрельное, — повторил Вигдор, взъерошив седые, коротко остриженные волосы. — И смею вас уверить, шагнувшее куда дальше примитивных пороховых зарядов, которые время от времени появлялись и у нас...

— Появлялись и?..

— И не получали распространения. — Король сдержанно улыбнулся. Он присел, глядя в узкое, заросшее морской солью и известью рыло оружия. — «Странник» — гость... опасный гость из иного мира. И привез он опасный же подарок.

— Которым вы собираетесь воспользоваться.

Он не стал отрицать, но повернулся к Вигдору, который тихо произнес:

— В трюме нашли тела... некоторые были погружены в бочки с воском. И сохранились хорошо... настолько хорошо, что, вероятно, удастся выделить возбудителя. Кроме того, имеются и иные материалы...

Вероятно, речь идет о длинных узких столах, что протянулись вдоль дальней стены. И о

коробках, белых покрывалах и черных костях.

— Не стоит, мастер. — Вигдор не позволил приблизиться к ним. — Вы сегодня выйдете в город...

...и как знать, не вынесет ли на руках древнюю заразу.

Присмотревшись, Брокк заметил, что кости, и коробки, и сами столы покрывает жемчужная пленка энергетического колпака.

Разумная мера.

— Идем, мастер. Оставь эту ношу другим.

Король вышел в другую дверь.

— Единственно, придется принять душ. Сам понимаешь, мне бы не хотелось допустить утечку.

Вода пахла химией. Кожу стянуло, а во рту поселился мерзковатый привкус металла. Одежда, оставленная по другую сторону двери в узком, холодном предбаннике, была несколько велика.

— Твою вернут после обработки. — Король затянул шнуровку на рубашке. — И еще, мастер, если хочешь что-то сказать, то говори. Разрешаю. Пока разрешаю.

— Вы и вправду... выпустите чуму?

— Не знаю. Такой ответ тебя устроит? — Опершись на трость, Король поднялся. — Эту войну начнем не мы, но... если ей суждено случиться, то мы будем воевать. Любым оружием, мастер.

— Сколько погибнет?

Брокк знал ответ. Тысячи. И сотни тысяч.

— А сколько останутся живы? — спросил Стальной Король, во взгляде которого была безмерная усталость. — После того как этот город поглотит прилив. Сколько встанут и скажут, что время нашей власти иссякло? Наше время, мастер. И потребуют уйти вслед за альвами. Боюсь, мы подали дурной пример.

И без короны, без мантии и порфиры он выглядел Королем, что было страшно.

— Возможно, я чудовище, но... я буду защищать свою семью любыми средствами.

Как ни странно, Брокк его понимал.

Белые фрезии и ветвь аспарагуса. Ель. Можжевельник, украсившийся черными бусинами ягод. Остролист. И ленты. Ужин вдвоем. Кейрен, задумавшийся и в этой задумчивости грызущий вилку.

— Поранишься. — Таннис подперла ладонью подбородок и смотрела на него.

Забавный.

И родной.

Снова вечер и снова для двоих, который уже кряду. Он возвращается рано и приносит цветы, очередной букет или венок, а с ним — бархатную коробочку.

— Мне захотелось сделать подарок. — Кейрен оставляет коробочку на столе и отступает, наблюдая за Таннис. Ей хочется радоваться подаркам, но... тонкий лед прогибается под ногами.

Таннис слышит треск. И его ложь, пусть не произнесенную вслух, но меж тем явную. Она так боится задавать вопрос, поскольку ответ предопределен. И, открывая коробочку, радуется, только Кейрен тоже остро чувствует притворство и просит:

— Оставь.

Оставляет... и этих коробочек собралась уже дюжина. Серьги с зеленым хризолитом... он забыл, что у Таннис не проколоты уши. И хризолитовый же браслет... ожерелье из янтаря. Янтарь ей нравится, и, оставаясь одна, Таннис берет ожерелье в руки. Металл обвивает запястье, холодный, что змея, а Таннис гладит широкие звенья, пока камень не согреется ее теплом.

Гранатовый гарнитур.

И кольцо с крупным топазом... жемчужная нить... и снова серьги.

Бездна украшений, с которыми Таннис не представляет, что делать. А в ушах стоит зудящий голос матушки, твердящей, что подарки надо брать. Пригодятся.

Пустое.

И ночь, подкрадываясь, заглядывает в окна, рассыпает огни на речных берегах и в доме напротив. А Кейрен гасит газовые рожки, остается лишь белая восковая свеча и тонкий язычок огня на ее вершине.

— Я боюсь темноты, — признается он.

И Таннис подходит к нему, становится за спиной, обнимает. Он же накрывает ее руки своими, точно опасаясь, что она сбежит, смотрит на свечу.

— И я боюсь огня.

Он встает, всегда резко, хватает ее, кружит. И Таннис молча цепляется за шею. Ей тоже страшно. Она боится однажды остаться в темноте одна.

— Ты моя... — Кейрен вдруг теряет былую сноровку и путается в одежде, он спешит, и Таннис тоже. Она словно больна, тяжело, безысходно, оттого и голова кружится, оттого и дышать не способна сама.

Вдвоем.

Вдвоем все легче. И в темноте кожа Кейрена бела, а ее так и осталась смуглой.

— Я не отдам тебя... не позволю уйти... — Его шепот горячий, но Таннис все равно дрожит.

[Купить полную версию книги](#)

Альмавива — широкий мужской плащ без рукавов.

Глазет — парча с цветной шелковой основой и вытканными на ней золотыми и серебряными узорами.

Блонды — шелковые кружева из неотбеленного сырья — шелка-сырца, имевшего золотистый цвет.

Кастор — тончайшей выработки сукно самых разных цветов. Его ткали с примесью бобрового или козьего пуха. Кастор делали во многих странах и применяли для производства шляп, перчаток, чулок и одежды, чаще всего мужской. В отличие от обычных сукон, кастор имел ворс на изнаночной стороне ткани. Это позволяло хорошо сохранять тепло, поэтому из кастора охотно шили перчатки.

Шерстяной батист широко использовался для изготовления амазонок, поскольку вследствие особой обработки ткани и изначального плотного плетения обладал водоотталкивающими свойствами.

Грань — разновидность парчи.

Дамасс — более дешевая разновидность парчи, которая также отличалась металлическим блеском.